

Габриэль  
Гарсиа Маркес



Нобелевская  
премия

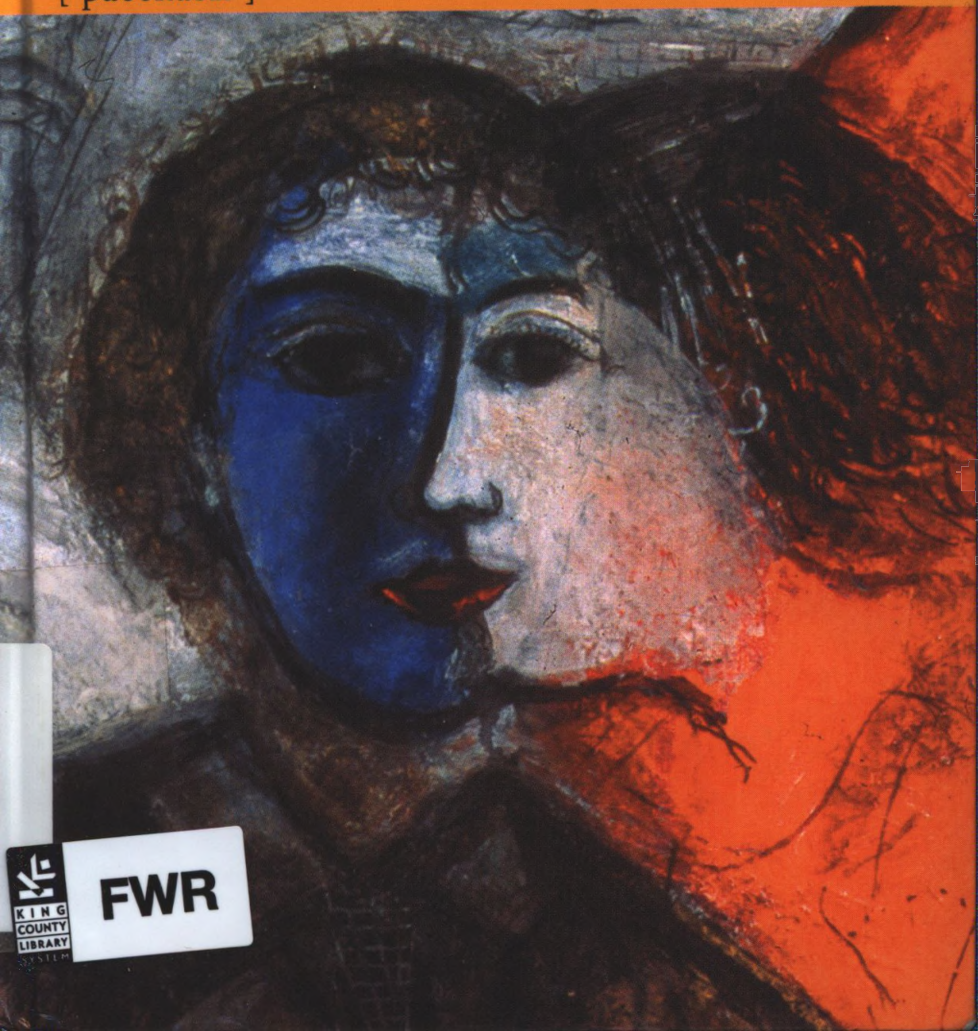
KING COUNTY LIBRARY SYSTEM



2091556346

Глаза голубой  
собаки

[ рассказы ]



FWR

Габриэль  
Гарсиа Маркес

---

Глаза голубой  
собаки

**аст**  
ИЗДАТЕЛЬСТВО  
Астрель  
Полиграфиздат  
МОСКВА

УДК 821.134.2 (7/8)

ББК 84 (7Кол)

Г21

Gabriel García Márquez  
OJOS DE PERRO AZUL

*Перевод с испанского*

*Серийное оформление А.А. Кудрявцева*

*Компьютерный дизайн А.Б. Ткаченко*

Печатается с разрешения Stars and Movies Copyright B.V.  
и литературного агентства Agencia Literaria Carmen Balcells, S.A.

Подписано в печать 29.09.11. Формат 84х108/32.

Усл. печ. л. 8,4. Тираж 15 000 экз. Заказ № СК 3609М.

**Гарсиа Маркес, Г.**

Г21 Глаза голубой собаки: [сборник; пер. с исп.] / Габриэль  
Гарсиа Маркес. – М.: АСТ: Астрель: Полиграфиздат, 2012. –  
154, [6] с.

ISBN 978-5-17-076070-1 (ООО «Изд-во АСТ»)

ISBN 978-5-271-38729-6 (ООО «Изд-во Астрель»)

ISBN 978-5-4215-2997-2 (ООО «Полиграфиздат»)

Зачем красивая женщина превратилась в кошку? Почему негртеночек Набо заставил ангелов ждать? Что убивает человека – смертельная болезнь или готовность принять смерть? Что происходит в старинном городке Макондо с приходом сезона дождей? И что все-таки случилось с тремя пьяницами в дешевом баре, где хозяйничали выпы?

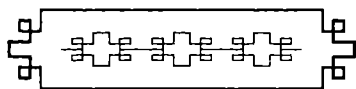
Рассказы Габриэля Гарсиа Маркеса, в которых он играет со стилями и пробует себя в разных литературных направлениях. Он ошупью ищет то, что станет впоследствии его творческим кредо. А читатель прослеживает его путь - от просто хорошего писателя – до истинного мастера слова!

УДК 821.134.2 (7/8)

ББК 84 (7Кол)

© Gabriel García Márquez, 1947 & 1974

© Издание на русском языке AST Publishers, 2011



### ***Третье смирение***

**Т**ам снова послышался этот шум. Звуки были резкие, отрывистые, надоедливые, уже узнаваемые; но сейчас они вызвали острое, мучительное ощущение, — видимо, за эти дни он от них отвык.

Они гулко отдавались в голове — глухие, болезненные. Казалось, череп у него заполняется сотами. Они вырастали, закручиваясь восходящими спиралями, и ударили его изнутри, заставляя вибрировать верхушки позвонков в нервном, неустойчивом ритме, в каком вибрировало и все тело. Что-то разладилось в устройстве его крепкого человеческого организма — что-то действовавшее *до того* нормальным образом — и теперь стучало у него в голове сухими, жесткими ударами молотка, чья-то рука, лишенная плоти, как у

---

© Перевод. А. Борисова, 2011.

скелета, ударяла по черепу, и это заставляло его вспоминать самые горькие в жизни минуты. Подсознательным движением он сжал кулаки и поднес их к голубовато-фиолетовым артериям на висках, стараясь раздавить невыносимую боль. Ему хотелось взять в руки и ощутить ладонями этот шум, который дырявил его сознание острием алмазной иглы. Мускулы его напряглись, словно у кота, стоило ему только представить себе, как он преследует его, этот шум, в самых чувствительных участках воспаленного мозга, попавшего в лапы лихорадки. Вот он уже настиг его. Нет. Шкура у этого шума скользкая, почти неосязаемая. Но он все-таки доберется до него благодаря хорошо продуманным приемам и будет долго, до самого конца, сжимать его изо всех сил своего отчаяния. Он не позволит ему больше проникать в его слух; пусть он выйдет у него изо рта, через каждую пору кожи, из глаз, которые вылезут из орбит и ослепнут, следя за тем, как шум этот выходит из глубин охваченного лихорадкой мрака. Он не позволит, чтобы тот выдавливал из него осколки кристалликов, сверкающие снежинки на внутренних стенках черепа. Вот какой это был шум: нескончаемый, и такой, будто ребенка ударили головой о каменную стену. Когда резко уда-

ряют чем-нибудь о твердую поверхность природных образований. Шум перестанет его мучить, если окружить его, изолировать. Отрезать и отрезать по куску от его собственной тени. И схватить. Сжать его, теперь уже наверняка: изо всех сил швырнуть на пол и яростно топтать до тех пор, пока он уже действительно не сможет пошевелиться; и тогда скажет, задыхаясь, что он убил шум, который мучил его, который сводил с ума и который теперь валяется на полу, как самая обычная вещь, — превратившись в остывшего покойника.

Но ему было никак не сжать виски. Руки стали короткими, словно у карлика, — маленькие, толстые, жирные руки. Он попробовал встряхнуть головой. Встряхнул. Шум в голове возник с новой силой, он становился все более жестким, усиливался и тяжелел от собственной силы. Он был жесткий и тяжелый. Такой жесткий и такой тяжелый, что, когда настигнешь его и уничтожишь, будет казаться, что оборвал лепестки свинцового цветка.

Он слышал этот шум с той же настойчивостью и раньше. Например, когда умер первый раз. Когда — перед тем как увидеть труп — понял: этот труп — его собственный. Он осмотрел

его и потрогал. Тело оказалось неосязаемым, неощутимым, несуществующим. Он действительно стал трупом и уже чувствовал, как его тело, молодое и пораженное болезнью, заполняет смерть. Воздух во всем доме сгустился, будто пропитался цементом, а внутри этой густоты — там, где предметы оставались такими же, будто это все еще был обычный воздух, — внутри был он, заботливо упрятанный в гроб из твердого, но прозрачного цемента. В тот раз в голове у него и возник *этот самый шум*. Какими чужими и холодными казались ему стопы его ног; там, на другом конце гроба, лежала подушка, потому что ящик был великоват для него и надо было подогнать по росту, приладить к мертвому телу эту новую и последнюю его одежду. Его покрыли белым покрывалом и подвязали челюсть платком. Он казался себе очень красивым в этом саване, *смертельно красивым*.

Он лежал в гробу, готовый к погребению, и, однако, знал, что не умер. И если бы он попытался встать, ему удалось бы это без труда. По крайней мере *мысленно*. Но делать этого не стоило. Уж лучше умереть там, умереть от смерти, которой, в сущности, и была его болезнь. Когда-то врач сухо сказал его матери:

— Сеньора, ваш ребенок тяжело болен — все равно что мертв. Однако, — продолжал он, — мы сделаем все возможное, чтобы продлить ему жизнь и оттянуть смерть. Благодаря комплексной системе самонасыщения мы добьемся продолжения органических функций. Изменятся только двигательные функции, будут затруднены одновременные движения. О том, что он жив, мы будем знать по его росту, — расти он будет обычным порядком, это просто-напросто *смерть заживо*. Подлинная, действительная смерть...

Он помнил эти слова, хотя и смутно. А может, он никогда их не слышал и они были измышлением его мозга, когда поднялась температура во время кризиса тифозной горячки.

Когда он утонул в бреду. Когда читал истории о набальзамированных фараонах. Когда поднималась температура, он чувствовал себя ее протагонистом. Тогда и началось что-то вроде пустоты, из которой состояла его жизнь. С тех пор он перестал различать, какие события случились на самом деле, а какие ему пригрезились. Поэтому он и сомневался сейчас. Может быть, врач никогда и не говорил об этой странной *смерти заживо*. Ведь это алогично, парадоксально, это просто противоречит само себе. И это заставля-



ет его подозревать, что он на самом деле умер. Вот уже восемнадцать лет, как это произошло.

Тогда — ему было семь лет, когда он умер — его мать заказала для него маленький гроб из свежеспиленной древесины, гроб для ребенка, но врач велел сделать ящик побольше, как для нормального взрослого, а то этот, маленький, мог бы замедлить рост, и в результате получился бы деформированный мертвец или живой урод. Или из-за того, что задержится рост, нельзя будет заметить улучшение. Учитывая подобное развитие событий, мать заказала большой гроб, как для умершего подростка, и положила в ногах три подушки, чтобы гроб был впору.

Вскоре он начал расти внутри ящика, да так, что каждый год нужно было понемногу вынимать перья из подушки, лежавшей к нему ближе всех, чтобы освободить место. Так прошла половина жизни. Восемнадцать лет. (Теперь ему было двадцать пять.) Он дорос до своих окончательных, нормальных размеров. Столяр и врач ошиблись в расчетах, и гроб получился на полметра больше, чем нужно. Они думали, что он будет такого же роста, как его отец, который был похож на первобытного гиганта. Но он таким не стал. Единственное, что он унаследовал от от-

ца, — это бороду «лопатой». Пепельную густую бороду, которую приводила в порядок его мать, чтобы он выглядел в гробу достойно. Борода ужасно мешала ему в жаркие дни.

Но было еще кое-что, беспокоившее его больше, чем *этот шум!* Это были крысы. Особенно когда он был ребенком, ничто так не мучило его и не приводило в такой ужас, как крысы. Именно эти мерзкие животные сбегались на запах горящих свечей, которые ставили у него в ногах. Они обгладывали его одежду, и он знал, что очень скоро они возьмутся за него самого и начнут глотать его плоть. Однажды ему удалось их увидеть: пять крыс, скользких и блестящих, забрались в гроб, вскарабкавшись по ножке стола, и сожрали его. Когда мать обнаружит это, она увидит только его останки, только твердые холодные кости. Но самый большой ужас он испытал не оттого, что крысы могут его съесть. В конце концов, он мог бы продолжать жить в виде скелета. Больше всего его мучил врожденный ужас перед этими тварями. У него волосы вставали дыбом, стоило ему только подумать об этих существах, покрытых шерстью, которые бегали по всему телу, проникали в каждую складку кожи и царапали губы своими холодными лапами. Одна

из них добралась до его век и стала грызть роговицу. Когда она отчаянно пыталась продырять сетчатку, он видел, какая она огромная, безобразная. Тогда он подумал, что умирает еще раз, и целиком отдался обморочной неизбежности.

Он вспомнил, что достиг взрослого возраста. Ему было двадцать пять, и это означало, что больше он расти не будет. Черты лица его определились, стали жесткими. Но если бы он выздоровел, то не мог бы говорить о своем детстве. У него не было детства. Он прожил его мертвым.

Пока совершался переход от детства к отрочеству, у его матери было много тревог и опасений. Она беспокоилась о поддержании чистоты в гробу и в комнате вообще. Она часто меняла цветы в вазах и каждый день открывала форточки, чтобы проветрить комнату. С каким удовлетворением любовалась она отметкой на сантиметре, когда убеждалась, что он вырос еще немного! Она испытывала материнскую гордость, видя его живым. Заботилась мать и о том, чтобы в доме не было посторонних. В конце концов, многолетнее пребывание мертвеца в жилой комнате могло быть кому-то неприятно и необъяснимо. Это была самоотверженная женщина. Но скоро ее оптимизм начал убывать. В последние

годы она с грустью смотрела на сантиметр. Ее ребенок перестал расти. За последние месяцы его рост не увеличился ни на один дюйм. Мать знала, что очень трудно найти какой-либо другой способ, с помощью которого можно было бы обнаружить признаки жизни в ее дорогом покойнике. Она боялась, что однажды утром он встретит ее *действительно* мертвым, так что каждый день он видел, как она осторожно подходит к его ящику и обнюхивает его. Она впала в безысходное отчаяние. Последнее время мать уже не была такой внимательной и даже не брала в руки сантиметр. Она знала, что он больше не растет.

И он знал, что теперь *действительно* умер. Знал по мирному спокойствию, в котором пребывал его организм. Все разладилось. Едва уловимые удары сердца, которые мог ощутить только он сам, исчезали совсем, заглушаемые ударами пульса. Удары были тяжелые, будто их влекла призывная могучая сила первородной субстанции — земли. Казалось, его влечет к себе с необоримой мощью сила притяжения. Он был тяжелым, как безвозвратно умерший человек. Зато теперь он мог отдохнуть. Именно так. Ему даже не надо было дышать, чтобы жить в смерти.

В его воображении, не прикасаясь к нему, прошли, одно за другим, воспоминания. Там, на жесткой подушке, покоилась его голова, слегка повернутая влево. Он представил себе, что его полуоткрытый рот — это узкий берег прохлады, которая заполняла его гортань множеством мелких градин. Он был сломан, словно двадцатипятилетнее дерево. Он попытался закрыть рот. Платок, которым была подвязана челюсть, ослаб. Он не мог даже улечься, устроиться таким образом, чтобы принять *достойную позу*. Мускулы и сочленения уже не слушались его, не отзывались на сигналы нервной системы. Он уже был не таким, как восемнадцать лет назад, — нормальным ребенком, который мог двигаться, как ему нравится. Он чувствовал свои бессильные руки, прижатые к обитым ватой стенкам гроба, руки, которые ему уже никогда не будут повиноваться. Живот был твердым, как ореховая скорлупа. Затем ноги — прямые, правильной формы, по которым можно изучать анатомию человека. Покоясь в гробу, его тело становилось тяжелее, но все происходило тихо, без какого-либо беспокойства, как будто мир вокруг замер и никто не нарушает этой тишины; будто легкие земли перестали дышать, чтобы не тревожить невесо-

мый покой воздуха. Он чувствовал себя счастливым, как ребенок, который лежит на прохладной упругой траве и смотрит на плывущие в вечернем небе облака. Он был счастлив, хотя знал, что умер, что навсегда упокоился в деревянном ящике, обитом искусственным шелком. Ум его был необыкновенно ясен. Это было не так, как после первой смерти, когда он чувствовал, что отупел и ничего не воспринимает. Четыре свечи, поставленные вокруг него и обновлявшиеся каждые три месяца, почти истаяли, как раз когда они были так нужны! Он почувствовал близкую свежесть влажных фиалок, которые его мать принесла утром. Он чувствовал, как свежесть исходит и от белых лилий, и от роз. Но вся эта пугающая реальность не причиняла ему никакого беспокойства, — напротив, он был счастлив, совсем один, наедине со своим одиночеством. Может быть, ему станет страшно потом?

Кто знает. Жестоко было думать о той минуте, когда молоток вобьет гвозди в свежую древесину и гроб заскрипит в крепнущей надежде снова стать деревом. Его тело, теперь увлекаемое высшей силой земли, опустится на влажное дно, глинистое и мягкое, и там, наверху, заглушаемые четырьмя кубометрами земли, затихнут послед-

ние удары погребения. Нет. Ему и тогда не будет страшно. Это будет продолжением его смерти, самым естественным продолжением его нового состояния.

Его тело уже не сохраняло ни одного градуса тепла, мозг застыл, и снежинки проникли даже в костный мозг. Как просто оказалось привыкнуть к новой жизни, жизни мертвеца! Однажды — несмотря ни на что — он почувствует, как развалится на части его прочный каркас; и когда он захочет ощутить каждое из своих сочленений, у него уже ничего не получится. Он поймет, что у него больше нет определенной, точной формы, и сумеет смириться с тем, что потерял свое совершенное анатомическое устройство двадцатипятилетнего человека и превратился в бесформенную горсть праха, без всяких геометрических очертаний.

В библейский прах смерти. Может быть, тогда его охватит легкая тоска — тоска по тому, что он уже не настоящий труп, имеющий анатомию, а труп воображаемый, абстрактный, существующий только в смутных воспоминаниях родственников. Он поймет, что теперь будет подниматься по капиллярам какой-нибудь яблони и однажды будет разбужен проголодавшимся ребенком, ко-

торый надкусит его осенним утром. Он узнает тогда — и от этого ему делается грустно, — что утратил гармоническое единство и теперь не является даже самым обыкновенным покойником, мертвецом, как все прочие мертвецы.

Последнюю ночь он провел счастливо, в обществе собственного трупа.

Но с наступлением нового дня, когда первые лучи нежаркого солнца проникли в приоткрытое окно, он почувствовал, что кожа стала мягкой. Минуту он оглядывал себя. Спокойно, тщательно. Подождал, пока до него долетит ветерок. Сомнений быть не могло: от него *пахло*. За ночь мертвая плоть начала разлагаться. Его организм стал разрушаться и гнить, как тело любого покойника. *Запах*, несомненно, был, — запах тухлого мяса, который то исчезал, то вновь появлялся уже с новой силой. Тело стало разлагаться из-за жары, в прошлую ночь. Да. Он гнил. Через несколько часов придет мать, чтобы поменять цветы, и с порога ее окутает запах гниющей плоти. И тогда его унесут, чтобы предать вечному сну второй смерти среди прочих мертвецов.

Вдруг страх толкнул его в спину. Страх! Какое глубокое, какое значащее слово! Теперь он был охвачен страхом, *физическим*, подлинным. Что



это означает? Он прекрасно понял и содрогнулся: наверное, он не умер. Они поместили его сюда, в этот ящик, который он прекрасно чувствовал всем телом: мягкий, подбитый ватой, ужасающе удобный; а призрак страха открыл ему окно в действительность: его похоронят живым!

Он не мог быть мертвым, поскольку ясно отдавал себе отчет во всем, что происходит, он чувствовал шепот жизни вокруг. Мягкий аромат гелиотропов, проникавший в открытое окно, смешивался с этим его *запахом*. Он отчетливо услышал, как тихо плещется вода в пруду. Как не переставая стрекочет сверчок в углу, полагая, что еще не рассвело.

Все говорило ему, что он не умер. Все, кроме *запаха*. Но как он узнал, что этот запах исходит от него? Может быть, мать забыла поменять воду в вазах и это гниют стебли цветов? А может быть, гниет крыса, которую кошка притащила в его комнату? Нет. Это не может быть *его запаха*.

Всего несколько минут назад он был счастлив, что умер, потому что считал себя мертвым. Потому что мертвый может быть счастливым в своем непоправимом положении. Но живой не может примириться с тем, что его похоронят

заживо. Однако его тело не подчинялось ему. Он не мог выразить то, что хотел, и это внушало ему ужас — самый большой ужас в его жизни и в его смерти. Его похоронят заживо. Он сможет это почувствовать. Ощутить ту минуту, когда будут заколачивать гроб. Почувствовать невесомость своего тела, которое будут поддерживать плечи друзей, в то время как гнетущая тоска и отчаяние будут расти в нем с каждым шагом похоронной процессии.

Бесполезно будет пытаться подняться, вызвать изо всех своих слабых сил, бесполезно стучать, лежа внутри темного тесного гроба, пытаясь дать им знать, что он еще жив и что они идут хоронить его заживо. Это будет бесполезно: его мышцы и тогда не ответят на тревожный и последний призыв нервной системы.

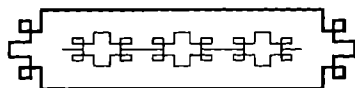
Он услышал шум в соседней комнате. Он что, спал? Вся эта жизнь мертвеца была кошмарным сном? Однако звон посуды продолжал слышаться. Ему сделалось грустно, может быть, даже неприятно, от этого шума. Захотелось, чтобы вся посуда в мире взяла и разбилась, там, рядом с ним, чтобы какая-то внешняя причина пробудила то, что его воля была уже бессильна пробудить.

Но нет. Это не было сном. Он был уверен: если бы это был сон, его последняя попытка вернуться к реальности не потерпела бы поражения. Он никогда уже не проснется. Он чувствовал податливость шелка в гробу и *запах*, который окутал его так сильно, что он даже усомнился, от него ли это пахнет. Ему захотелось увидеть родственников, прежде чем он начнет разлагаться, чтобы вид гнилого мяса не вызвал у них отвращения. Соседи в ужасе бросятся от гроба врассыпную, прижимая к носам платки. Их будет рвать. Нет. Не надо такого. Пусть лучше его похоронят. Лучше покончить со всем *этим* как можно раньше. Он и сам уже хотел отделаться от собственного трупа. Теперь он знал, что *действительно* умер или, может быть, жив, но так, что это уже ничего не значит для него. Все равно. В любом случае *запах* слышался все настойчивее.

Смирившись, он бы слушал последние молитвы, последние слова, звучащие на скверной латыни, нечетко повторяемые собравшимися. Ветер кладбищенских костей, наполненный прахом, проникнет в его кости и, может быть, немного рассеет этот *запах*. Быть может, — кто знает?! — неизбежность происходящего заставит его

очнуться от летаргического сна. Когда он почувствует, что плавает в собственном поту, в густой вязкой жидкости, вроде той, в которой он плавал до рождения в утробе матери. Тогда, быть может, он станет живым.

Но он уже так смирился со смертью, что, возможно, от смирения и умер.



## *Другая сторона смерти*

**Н**еизвестно почему — он вдруг проснулся, словно от толчка. Терпкий запах фиалок и формальдегида шел из соседней комнаты широкой волной, смешиваясь с ароматом только что раскрывшихся цветов, который посылал утренний сад. Он попытался успокоиться и обрести присутствие духа, которого сон лишил его. Должно быть, было уже раннее утро, потому что было слышно, как поливают грядки огорода, а в открытое окно смотрело синее небо. Он оглядел полутемную комнату, пытаюсь как-то объяснить это резкое, тревожное пробуждение. У него было ощущение, физическая уверенность, что кто-то вошел в комнату, пока он спал. Однако он был один, и дверь, запертая изнутри, не была взломана. Сквозь окно пролилось сияние. Какое-то

---

© Перевод. А. Борисова, 2011.

время он лежал неподвижно, стараясь унять нервное напряжение, которое возвращало его к пережитому во сне, и, закрыв глаза, лежа на спине, пытался восстановить прерванную нить спокойных размышлений. Ток крови резкими толчками отзывался в горле, а дальше, в груди, отчаянно и сильно колотилось сердце, все отмеряя и отмеряя отрывистые и короткие удары, как после изнурительного бега. Он заново мысленно пережил прошедшие несколько минут. Возможно, ему приснился какой-то странный сон. Должно быть, кошмар. Да нет, ничего особенного не было, никакого повода для *такого* состояния.

Они ехали на поезде (сейчас я это помню) по какой-то местности (я это часто вижу во сне) среди мертвой природы, среди искусственных, ненастоящих деревьев, обвешанных бритвенными лезвиями, ножницами и прочими острыми предметами вместо плодов (я вспоминаю: мне надо было причесаться), — в общем, парикмахерскими принадлежностями. Он часто видел этот сон, но никогда не просыпался от него так резко, как сегодня. За одним из деревьев стоял его брат-близнец, тот, которого недавно похоронили, и знаками показывал ему — однажды такое было в реальной жизни, — чтобы он остановил поезд.

Убедившись в бесполезности своих жестов, брат побежал за поездом и бежал до тех пор, пока, задыхаясь, не упал с пеной у рта. Конечно, это было нелепое, ирреальное видение, но в нем не было ничего, что могло бы вызвать *такое* беспокойство. Он снова прикрыл глаза — в прожилках его век застучала кровь, и удары ее становились все жестче, словно удары кулака. Поезд пересекал скучную, унылую, бесплодную местность, и тут боль, которую он почувствовал в левой ноге, отвлекла его внимание от пейзажа. Он осмотрел ногу и увидел — не следует надевать тесные ботинки — опухоль на среднем пальце. Самым естественным образом, как будто всю жизнь только это и делал, он достал из кармана отвертку и вывинтил головку фурункула. Потом аккуратно убрал отвертку в синюю шкатулку — ведь сон был цветной, верно? — и увидел, что из опухоли торчит конец грязной желтоватой веревки. Не испытывая никакого удивления, будто ничего странного в этой веревке не было, он осторожно и ловко потянул за ее конец. Это был длинный шнур, длиннющий, который все тянулся и тянулся, не причиняя неудобства или боли. Через секунду он поднял взгляд и увидел, что в вагоне никого нет, только в одном из купе едет его брат,

переодетый женщиной, и, стоя перед зеркалом, пытается ножницами вытащить свой левый глаз.

Конечно, этот сон был неприятный, но он не мог объяснить, почему у него поднялось давление, ведь в предыдущие ночи, когда он видел тяжелейшие кошмары, ему удавалось сохранять спокойствие. Он почувствовал, что у него холодные руки. Запах фиалок и формальдегида стал сильнее и был неприятен, почти невыносим. Закрыв глаза и пытаясь выровнять дыхание, он попытался подумать о чем-нибудь привычном, чтобы снова погрузиться в сон, превратившись несколькими минутами раньше. Можно было, например, подумать: через несколько часов мне надо идти в похоронное бюро платить по счетам. В углу запел неугомонный сверчок и наполнил комнату сухим отрывистым стрекотанием. Нервное напряжение начало ослабевать понемногу, но ощутимо, и он почувствовал, как его отпустило, мускулы расслабились; он откинулся на мягкую подушку, тело его, легкое и невесомое, испытывало благодатную усталость и теряло ощущение своей материальности, земной субстанции, имеющей вес, которая определяла и устанавливала его в присутствии ему на лестнице зоологических видов месте, которое заключало



в своей сложной архитектуре всю сумму систем тела и геометрию органов, поднимало его на высшую ступень в иерархии разумных животных. Веки послушно опустились на радужную оболочку так же естественно, как соединяются члены, составляющие руки и ноги, которые постепенно, впрочем, теряли свободу действий; как будто весь организм превратился в единый большой, отдельный орган и он — человек — перестал быть смертным и обрел другую судьбу, более глубокую и прочную: вечный сон, нерушимый и окончательный. Он слышал, как снаружи, на другом конце света, стрекотание сверчка становится все тише, пока совсем не смолкло; как время и расстояние входят внутрь его существа, вырастая в нем в новые и простые понятия, вычеркивая из сознания материальный мир, физический и мучительный, заполненный насекомыми и терпким запахом фиалок и формальдегида.

Спокойно, обласканный теплом каждодневного покоя, он почувствовал, как легка его выдуманная дневная смерть. Он погрузился в мир отрадных путешествий, в призрачный идеальный мир — мир, будто нарисованный ребенком, без алгебраических уравнений, любовных прощаний и силы притяжения.

Он не мог сказать, сколько времени провел так, на зыбкой грани сна и реальности, но вспомнил, что рывком, будто ему ножом полоснули по горлу, подскочил на кровати и почувствовал: брат-близнец, его умерший брат, сидит в ногах кровати.

Снова, как раньше, сердце сжалось в кулак и ударило его в горло так сильно, что он подскочил. Нарождающийся свет, сверчок, который нарушал тишину своим расстроенным органчиком, прохладный ветерок, долетавший из мира цветов в саду, — все это вместе вернуло его к реальной жизни; но в этот раз он понимал, отчего вздрогнул. В короткие минуты бессонницы и — сейчас я отдаю себе в этом отчет — в течение всей ночи, когда он думал, что видит спокойный, мирный сон *без мыслей*, его сознание занимал только один образ, постоянный, неизменный, — образ, существующий *отдельно от всего*, утвердившийся в мозгу помимо его воли и несмотря на сопротивление его сознания. Да. *Некая мысль* — так, что он почти не заметил этого, — овладела им, заполнила, охватила все его существо, будто появился занавес, представляющий неподвижный фон для всех остальных мыслей; она составляла опору и главный позво-

нок мысленной драмы его дней и ночей. Мысль о мертвом теле брата-близнеца гвоздем застряла в мозгу и стала центром жизни. И сейчас, когда его оставили там, на крохотном клочке земли, и веки его вздрагивают от дождевых капель, сейчас он *боялся его*.

Он никогда не думал, что удар будет таким сильным. В открытое окно снова проник аромат, смешанный теперь с запахом влажной земли, погребенных костей; его обоняние обострилось, и его охватила ужасающая животная радость. Уже много часов прошло с тех пор, когда он *видел*, как *тот* корчится под простынями, словно раненый пес, и стонет, и этот задавленный последний крик заполняет *его* пересохшее горло; как пытается ногтями разодрать боль, которая ползет по *его* спине, забираясь в самую сердцевину опухоли. Он не мог забыть, как *тот* бился, будто агонизирующее животное, восстав против правды, которая была перед *ним*, во власти которой находилось *его* тело, с непреодолимым постоянством, окончательным, как сама смерть. Он видел *его* в последние минуты ужасной агонии. Когда *он* обломал ногти о стену, раздирая последнюю крупницу жизни, что уходила у него между пальцев и обагрилась его кровью, а в это

время гангрена сжирала *его* плоть, как ненасытно-жестокая женщина. Потом он увидел, как *он* откинулся на смятую постель, даже не успев устать, покрытый испариной и смирившийся, и *его* губы, увлажненные пеной, сложились в жуткую улыбку, и смерть потекла по *его* телу, будто поток пепла.

Так было, когда я вспомнил об опухоли в животе, которая его мучила. Я представлял себе ее круглой — теперь у него было то же самое ощущение, — разбухающей внутри, будто маленькое солнце, невыносимой, будто желтое насекомое, которое протягивает свою вредоносную нить до самой глубины внутренностей. (Он почувствовал, что в организме у него все разладилось, словно уже от философского понимания необходимости неизбежного.) Возможно, и у меня будет такая же опухоль, какая была у него. Сначала это будет маленькое вздутие, которое будет расти, разветвляясь, увеличиваясь у меня внутри, будто плод. Возможно, я почувствую опухоль, когда она начнет двигаться, перемещаться внутри меня с неистовством ребенка-лунатика, переходя по моим внутренностям, как слепая, — он прижал руки к животу, чтобы унять острую боль, затем с тревогой вытянул их в темноту, в

поисках матки, гостеприимного теплого убежища, которое ему не суждено найти; и сотни лапок этого фантастического существа, перепутавшись, станут длинной желтоватой пуповиной. Да. Возможно, и у меня в желудке — как у брата, который только что умер, — будет опухоль. Запах из сада стал очень сильным, неприятным, превращаясь в тошнотворную вонь. Время, казалось, застыло на пороге рассвета. Через окно сияние утра было похоже на свернувшееся молоко, и казалось, что именно поэтому из соседней комнаты, там, где всю прошлую ночь пролежало тело, так несло формальдегидом. Это, разумеется, был не тот запах, что шел из сада. Это был тревожный, особенный запах, не похожий на аромат цветов. Запах, который навсегда, стоило только узнать его, казался трупным. Запах леденящий и неотвязный — так пахло формальдегидом в анатомическом театре. Он вспомнил лабораторию. Заспиртованные внутренности, чучела птиц. У кролика, пропитанного формалином, мясо становится жестким, обезвоживается, теряет мягкую эластичность, и он превращается в бессмертного, вечного кролика. Формальдегидного. Откуда этот запах? *Единственный способ остановить разложение.* Если вены человека заполнить фор-

малином, *мы станем* заспиртованными анатомическими образчиками.

Он услышал, как снаружи усиливается дождь и барабанит, будто молоточками, по стеклу приоткрытого окна. Свежий воздух, бодрящий и обновленный, ворвался в комнату, неся с собой влажную прохладу. Руки его совсем застыли, наводя на мысль о том, что по артериям течет формалин, — будто холод из патио проник до самых костей. Влажность. Там очень влажно. С горечью он подумал о зимних ночах, когда дождь будет заливать траву, и влажность примостится под боком его брата, и вода будет циркулировать в его теле, как токи крови. Он подумал, что у мертвецов должна быть другая система кровообращения, которая быстро ведет их к другой ступени смерти — последней и невозвратной. В этот момент ему захотелось, чтобы дождь перестал и лето стало бы единственным, вытеснившим все остальные времена года. И поскольку он об этом думал, настойчивый и влажный шум за окном его раздражал. Ему хотелось, чтобы глина на кладбищах была сухой, всегда сухой, поскольку его беспокоила мысль: там, под землей, две недели — влажность уже проникла в костный мозг — лежит человек, уже совсем не похожий на него.

Да. Они были близнецами, похожими как две капли воды, близнецами, которых с первого взгляда никто не мог различить. Раньше, когда они были братьями и жили каждый своей жизнью, они были просто *братьями-близнецами*, живущими как два отдельных человека. В *духовном* смысле у них не было ничего общего. Но сейчас, когда жестокая, ужасная реальность, будто беспозвоночное животное, холодом заскользила по спине, что-то нарушилось в едином целом, появилось нечто похожее на пустоту, словно в теле у него открылась рана, глубокая, как бездна, или как будто резким ударом топора ему отсекали половину туловища: не от этого тела с конкретным анатомическим устройством и совершенным геометрическим рисунком, не от физического тела, которое сейчас чувствовало страх, — от другого, которое было далеко от него, которое вместе с ним погрузили в водянистый мрак материнской утробы и которое вышло на свет, поднявшись по ветвям старого генеалогического древа; которое было вместе с ним в крови четырех пар их прадедов, оно шло к нему оттуда, с сотворения мира, поддерживая своей тяжестью, своим таинственным присутствием всю мировую гармонию. Возможно, в его

жилах течет кровь Исаака и Ревекки, возможно, он мог быть другим братом, тем, который родился на свет, уцепившись за его пятку, и который пришел в этот мир через могилы поколений и поколений, от ночи к ночи, от поцелуя к поцелую, от любви к любви, путешествуя, будто в сумраке, по артериям и семенникам, пока не добрался до матки своей родной матери. Сейчас, когда равновесие нарушено и уравнение окончательно решено, таинственный генеалогический маршрут виделся ему реально и мучительно. Он знал, что в гармонии его личности чего-то недостает, как недостает этого в его обычной, видимой глазу целостности: *«Потом вышел Иаков, держа за пяту Исава»*.

Пока брат его болел, у него не было такого ощущения, потому что изменившееся лицо, искаженное лихорадкой и болью, с отросшей бородой, было не похоже на его собственное.

Сразу же, как только брат вытянулся и затих, побежденный окончательной смертью, он позвал брадобрея «привести тело в порядок». Сам он был тут же и стоял, вжавшись в стену, когда пришел человек, одетый в белое, и принес сверкающие инструменты для работы... Ловким движением мастер покрыл мыльной пеной бороду



покойника — рот тоже был в пене. Таким я видел брата перед смертью: медленно, будто стараясь вызнать какой-то ужасный секрет, парикмахер начал его брить. Вот тогда-то и пришла *эта* жуткая мысль, которая заставила его вздрогнуть. По мере того как с помощью бритвенного лезвия все более проступали бледные, искаженные ужасом черты *брата-близнеца*, он все более чувствовал, что это мертвое тело не есть что-то чуждое ему; это — нечто составляющее единый с ним земной организм, и все, что происходит, — это просто репетиция его собственной... У него было странное чувство, что родители вынули из зеркала его отражение, то, которое он видел, когда брился. Ему казалось сейчас, что это изображение, повторявшее каждое его движение, стало независимым от него. Он видел свое отражение множество раз, когда брился, — каждое утро. Сейчас он присутствовал при драматическом событии, когда другой человек бреет его отражение в зеркале, невзирая на его собственное физическое присутствие. Он был уверен, убежден, что если сейчас подойдет к зеркалу, то не увидит там *ничего*, хотя законы физики и не смогут объяснить это явление. Это было раздвоение сознания! Его двойником был покойник! В полном отчаянии,

пытаясь овладеть собой, он ощупал пальцами прочную стену дома, которую ощутил как застывший поток. Бладобрей закончил работу и кончиками ножниц закрыл глаза покойному. Мрак дрожал внутри него, в непоправимом одиночестве ушедшей из мира плоти. Теперь они были одинаковыми. Неотличимые друг от друга братья, без устали повторяющие друг друга.

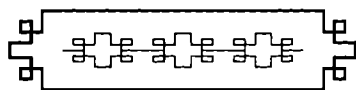
И тогда он пришел к выводу: если эти две природные сущности так тесно связаны между собой, то должно произойти нечто необычайное и неожиданное. Он вообразил, что разделение двух тел в пространстве — не более чем видимость, на самом же деле у них единая, общая природа. Так что когда мертвец станет разлагаться, он, живой, тоже начнет гнить внутри себя.

Он услышал, как дождь застучал по стеклу с новой силой и сверчок принялся щипать свою струну. Руки его стали совершенно ледяными, скованные холодом долгой неодоушевленности. Острый запах формальдегида заставлял думать, что гниение, которому подвергался его брат, проникает, как послание, оттуда, из ледяной земляной ямы. Это было нелепо! Возможно, все перевернуто с ног на голову: влияние должен оказывать он, тот, кто продолжает жить, — своей

энергией, своими живыми клетками! И тогда — если так — его брат останется таким, какой он есть, и равновесие между жизнью и смертью защитит его от разложения. Но кто убедит его в этом? Разве невозможно и то, что погребенный брат сохранится нетронутым, а гниение своими синеватыми щупальцами заполонит живого?

Он подумал, что последнее предположение наиболее вероятно, и, смирившись, стал ждать своего смертного часа. Плоть его стала мягкой, разбухшей, и ему показалось, что какая-то голубая жидкость покрыла все его тело целиком. Он почувствовал — один за другим — все запахи своего тела, однако только запах формалина из соседней комнаты вызвал знакомую холодную дрожь. Потом его уже ничто не волновало. Сверчок в углу снова затянул свою песенку, большая круглая капля свисала с чистых небес прямо посреди комнаты. Он услышал: вот она упала — и не удивился, потому что знал — старая деревянная крыша здесь прохудилась, но представил себе эту каплю прохладной, бескрайней, как небеса, воды, добрую и ласковую, которая пришла с небес, из лучшей жизни, где нет таких идиотских вещей, как любовь, пищеварение или жизнь близнецов. Может быть, эта капля заполнит всю

комнату через час или через тысячу лет и растворит это брэнное сооружение, эту никому не нужную субстанцию, которая, возможно, — почему бы и нет? — превратится через несколько мгновений в вязкое месиво из белковины и сукровицы. Теперь уже все равно. Между ним и его могилой — только его собственная смерть. Смирившись, он услышал, как большая круглая тяжелая капля упала, произошло это где-то в другом мире, в мире нелепостей и заблуждений, в мире разумных существ.



### *Ева внутри своей кошки*

Она вдруг заметила, что красота разрушает ее, что красота вызывает физическую боль, будто какая-нибудь опухоль, возможно даже раковая. Она ни на миг не забывала всю тяжесть своего совершенства, которая обрушилась на нее еще в отрочестве и от которой она теперь готова была упасть без сил — кто знает куда, — в усталом смирении дернувшись всем телом, словно загнанное животное. Невозможно было дальше тащить такой груз. Надо было избавиться от этого бесполезного признака личности, от части, которая была ее именем и которая так сильно выделялась, что стала лишней. Да, надо сбросить свою красоту где-нибудь за углом или в отдаленном закоулке предместья. Или забыть в гардеробе какого-нибудь второсортного ресторана, как

---

© Перевод. А. Борисова, 2011.

старое ненужное пальто. Она устала везде быть в центре внимания, осаждаемой долгими взглядами мужчин. По ночам, когда бессонница втыкала иголки в веки, ей хотелось быть обычной, ничем не привлекательной женщиной. Ей, заключенной в четырех стенах комнаты, все казалось враждебным. В отчаянии она чувствовала, как бессонница проникает под кожу, в мозг, подталкивает лихорадку к корням волос. Будто в ее артериях поселились крошечные теплокровные насекомые, которые с приближением утра просыпаются и перебирают подвижными лапками, бегая у нее под кожей туда-сюда, — вот что такое был этот кусок плодоносной глины, принявшей обличье прекрасного плода, вот какой была ее природная красота. Напрасно она боролась, пытаясь прогнать этих мерзких тварей. Ей это не удавалось. Они были частью ее собственного организма. Они жили в ней задолго до ее физического существования. Они перешли к ней из сердца ее отца, который, мучась, кормил их ночами безутешного одиночества. А может быть, они попали в ее артерии через пуповину, связывавшую ее с матерью со дня основания мира. Несомненно, эти насекомые не могли зародиться только в ее теле. Она знала: они пришли из

далекого прошлого, и все, кто носил ее фамилию, вынуждены были их терпеть и так же, как она, страдали от них, когда до самого рассвета их одолевала бессонница. Именно из-за этих тварей у всех ее предков было горькое и грустное выражение лица. Они глядели на нее из ушедшей жизни, со старинных портретов, с выражением одинаково мучительной тоски. Она вспомнила беспокойное выражение лица своей прабабки, которая, глядя со старого холста, просила минуту покоя, покоя от этих насекомых, которые сновали в ее кровеносных сосудах, немилосердно муча и создавая ее красоту. Нет, это были насекомые, что зародились не в ней. Они переходили из поколения в поколение, поддерживая своей микроскопической конструкцией избранную касту, обреченную на мучения. Эти насекомые родились во чреве первой из матерей, которая родила красавицу дочь. Однако надо было срочно разрушить такой порядок наследования. Кто-то должен был отказаться передавать эту искусственную красоту. Грош цена женщинам ее рода, которые восхищались собой, глядя в зеркало, если по ночам твари, населяющие их кровеносные сосуды, продолжали свою медленную и вредоносную работу — без усталости, на протяжении

веков. Это была не красота, а болезнь, которую надо было остановить, оборвать этот процесс решительно и по существу.

Она вспомнила нескончаемые часы, проведенные в постели, будто усеянной горячими иголками. Ночи, когда она старалась торопить время, чтобы с наступлением дня эти твари оставили ее в покое и боль утихла. Зачем нужна такая красота? Ночь за ночью, охваченная отчаянием, она думала: лучше бы родиться обыкновенной женщиной или родиться мужчиной, чтобы не было этого бесполезного преимущества, что приносят насекомые из рода в род, насекомые, которые только ускоряют приход неминуемой смерти. Возможно, она была бы счастливей, если бы была уродиной, непоправимо некрасивой, как ее чешская подруга, у которой было какое-то собачье имя. Лучше уж быть некрасивой и спокойно спать, как все добропорядочные христиане.

Она проклинала своих предков. Они виноваты в ее бессоннице. Они передали ей эту застывшую совершенную красоту, как будто, умерев, матери подновляли и подправляли свои лица и прилаживали их к туловищам дочерей. Казалось, одна и та же голова, всего одна, переходит из



одного поколения в другое и у всех женщин, которые должны неотвратно принять ее как наследственный признак красоты, — одинаковые уши, нос, рот. И так, переходя от лица к лицу, был создан этот вечный микроорганизм, который с течением времени усилил свое воздействие, приобрел свои особенности, мощь и превратился в непобедимое существо, в неизлечимую болезнь, которая, пройдя сложный процесс отбора, добралась до нее, и нет больше сил терпеть — такой острой и мучительной она стала!.. И в самом деле, будто опухоль, будто раковая опухоль.

Именно в часы бессонницы вспоминала она о таких неприятных для тонко чувствующего человека вещах. О том, что заполняло мир ее чувств, где выращивались, как в пробирке, эти ужасные насекомые. В такие ночи, глядя в темноту широко открытыми изумленными глазами, она чувствовала тяжесть мрака, опустившегося на виски, словно расплавленный свинец. Вокруг нее все спало. Лежа в углу, она пыталась разглядеть окружающие предметы, чтобы отвлечь себя от мыслей о сне и своих детских воспоминаниях.

Но это всегда кончалось ужасом перед неизвестностью. Каждый раз ее мысль, бродя по тем-

ным закоулкам дома, наталкивалась на страх. И тогда начиналась борьба. Настоящая борьба с тремя неподвижными врагами. Она не могла — нет, никогда не могла — выкинуть из головы этот страх. Горло ее сжималось, а надо было терпеть его, этот страх. И всё для того, чтобы жить в огромном старом доме и спать одной, отделенной от остального мира, в своем углу.

Мысль ее бродила по затхлым темным коридорам, стряхивая пыль со старых, покрытых паутиной портретов. Эта ужасная, потревоженная ее мыслью пыль прилетала оттуда, где превращался в ничто прах ее предков. Она всегда вспоминала о *малыше*. Представляла себе, как он, покойный, лежит под корнями травы, в патио, рядом с апельсиновым деревом, с комком влажной земли во рту. Ей казалось, она видит его на глинистом дне, как он царапает землю ногтями и зубами, пытаясь уйти от холода, проникающего в него; как он ищет выход вверх в этом узком туннеле, куда его положили и обсыпали ракушками. Зимой она слышала, как он тоненько плачет, перепачканный глиной, и его плач прорывается сквозь шум дождя. Ей казалось, он должен был сохраниться в этой яме, полной воды, таким, каким его оставили там пять лет назад. Она

не могла представить себе, что плоть его сгнила. Напротив, он, наверное, очень красивый, когда плавает в той густой воде, из которой нет выхода. Или она видела его живым, но испуганным, ему страшно быть там одному, погребенному в темном патио. Она сама не хотела, чтобы его оставляли там, под апельсиновым деревом, так близко от дома. Ей было страшно... Она знала: он догадается, что по ночам ее неотступно преследует бессонница. И придет по широким коридорам просить ее, чтобы она пошла с ним и защитила бы его от других тварей, пожирающих корни его фиалок. Он вернется, чтобы уснуть рядом с ней, как делал это, когда был жив. Она боялась почувствовать его рядом с собой снова — после того, как ему удастся разрушить стену смерти. Боялась прикосновения этих рук, *малыш* всегда будет держать их крепко сцепленными, чтобы отогреть кусочек льда, который принесет с собой. После того как его превратили в цемент, наводящее страх надгробие, она хотела, чтобы его увезли далеко, потому что боялась вспоминать его по ночам. Однако его оставили там, ооченелого, в глине, и дождевые черви теперь пьют его кровь. И приходится смириться с тем, что он является ей из глубины мрака, ибо всякий раз,

неизменно, когда она не могла заснуть, она думала о *мальше*, который зовет ее из земли и просит, чтобы она помогла ему освободиться от этой нелепой смерти.

Но сейчас, по-новому ощутив пространство и время, она немного успокоилась. Она знала, что там, за пределами ее мира, все идет своим чередом, как и раньше; что ее комната еще погружена в предрассветный сумрак и что предметы, мебель, тринадцать любимых книг — все остается на своих местах. И что запах живой женщины, заполняющий пустоту ее чрева, который исходит от ее одинокой постели, начинает исчезать. Но как это могло произойти? Как она, красивая женщина, в крови которой обитают насекомые, преследуемая страхом многие ночи, оставила свои бессонные кошмары и оказалась в странном, неведомом мире, где вообще нет измерений? Она вспомнила. В ту ночь — ночь перехода в этот мир — было холоднее, чем всегда, и она была дома одна, измученная бессонницей. Никто не нарушал тишины, и запах из сада был запахом страха. Обильный пот покрывал все ее тело, будто вся кровь из вен разлилась внутри нее, вытесненная насекомыми. Ей хотелось, чтобы хоть кто-нибудь прошел мимо дома

по улице или кто-нибудь крикнул, чтобы расколоть эту застывшую тишину. Пусть что-нибудь в природе произойдет, и Земля снова завертится вокруг Солнца. Но все было бесполезно. Эти глупые люди даже не проснутся и будут и дальше спать, зарывшись в подушки. Она тоже сохраняла неподвижность. От стен несло свежей краской, запах был такой густой и навязчивый, что чувствовался не обонянием, а скорее желудком. Единственными, кто разбивал тишину своим неизменным тиканьем, были часы на столике. «Время... о, время!..» — вздохнула она, вспомнив о смерти. А там, в патио, под апельсиновым деревом, тоненько плакал *мальш*, и плач его доносился из другого мира.

Она призвала на помощь всю свою веру. Почему никак не рассветет, почему ей сейчас не умереть? Она никогда не думала, что красота может стоять таких жертв. В тот момент, как обычно, кроме страха она почувствовала физическую боль. Даже сквозь страх мучили ее эти жестокие насекомые. Смерть схватила ее жизнь как паука, который злобно кусал ее, намереваясь уничтожить. Но оттягивал последнее мгновение. Ее руки, те самые, что глупцы мужчины сжимали, не скрывая животной страсти, были неподвижны,

парализованы страхом, необъяснимым ужасом, шедшим изнутри, не имеющим причины, кроме той, что она покинута всеми в этом старом доме. Она хотела собраться с силами и не смогла. Страх поглотил ее целиком и только возрастал, неотступный, напряженный, почти осязаемый, будто в комнате был кто-то невидимый, кто не хотел уходить. И больше всего ее тревожило: у этого страха не было никакого объяснения, это был страх как таковой, без всяких причин, просто страх.

Она почувствовала густую слюну во рту. Было мучительно ощущать эту жесткую резину, которая прилипала к нёбу и текла неудержимым потоком. Это не было похоже на жажду. Это было какое-то желание, преобладавшее над всеми прочими, которое она испытывала впервые в жизни. На какой-то миг она забыла о своей красоте, бессоннице и необъяснимом страхе. Она не узнавала себя самое. Ей вдруг показалось — из ее организма вышли микробы. Она чувствовала их в слюне. Да, и это было очень хорошо. Хорошо, что насекомых больше нет и что она сможет теперь спать, но нужно было найти какое-то средство, чтобы избавиться от резины, обмотавшей язык. Вот бы дойти до кладовой и... Но о чем

она думает? Она вдруг удивилась. Она никогда не чувствовала *такого* желания. Неожиданный терпкий привкус лишал ее сил и делал бессмысленным тот обет, которому она была верна с того дня, как похоронила *малыша*. Глупость, но она не могла прежде побороть отвращения и съесть апельсин. Она знала: *малыш* добирается весной до цветов на дереве и плоды осенью будут напитаны его плотью, освеженные жуткой прохладой смерти. Нет. Она не могла их есть. Она знала, что под каждым апельсиновым деревом, во всем мире, похоронен ребенок, который насыщает плоды сладостью из кальция своих костей. Однако сейчас ей хотелось съесть апельсин. Это было единственным средством от тягучей резины, которая душила ее. Глупо было думать, что *малыш* был в каждом апельсине. Надо воспользоваться тем, что боль, какую причиняла ей красота, наконец оставила ее, надо дойти до кладовой. Но... не странно ли это? Впервые в жизни ей хотелось съесть апельсин. Она улыбнулась — да, улыбнулась. Ах, какое наслаждение! Съесть апельсин. Она не знала почему, но никогда у нее не было желания более сильного. Вот бы встать счастливой от сознания, что ты обыкновенная женщина, и, весело напевая, дойти до кладовой, — весело,

как обновленная женщина, которая только что родилась. Обязательно пойти в патио и...

Вдруг мысли ее прервались. Она вспомнила, что уже попыталась подняться и что она уже не в своей постели, что тело ее исчезло, что нет тринадцати любимых книг и что она — уже не она. Она стала бестелесной и парила в свободном полете в абсолютной пустоте, летела неизвестно куда, превратившись в нечто аморфное, в нечто мельчайшее. Она не могла с точностью сказать, что происходит. Все перепуталось. У нее было ощущение, что кто-то толкнул ее в пустоту с невероятно высокого обрыва. Ей казалось, она превратилась в нечто абстрактное, воображаемое. Она чувствовала себя бестелесной женщиной — как если бы вдруг вошла в высший, непознанный мир невинных душ.

Ей снова стало страшно. Но не так, как раньше. Теперь она не боялась, что заплачет *малыш*. Она боялась этого чуждого, таинственного и незнакомого нового мира. Подумать только — все произошло так естественно, при полном ее неведении! Что скажет ее мать, когда придет домой и поймет, что произошло? Она представила, как встревожатся соседи, когда откроют дверь в ее комнату и увидят, что кровать пуста, замки целы



и что никто не мог ни выйти, ни войти, но, несмотря на это, ее в комнате нет. Представила отчаяние на лице матери, которая ищет ее повсюду, теряясь в догадках и спрашивая себя, что случилось с ее девочкой. Дальнейшее виделось ясно. Все соберутся и начнут строить предположения — разумеется, зловещие — об ее исчезновении. Каждый на свой лад. Выискивая объяснение наиболее логичное, по крайней мере наиболее приемлемое; и дело кончится тем, что мать бросится бежать по коридорам дома, в отчаянии звать ее по имени.

А она будет в комнате. Она будет смотреть на происходящее, тщательно разглядывая все вокруг, глядя из угла, с потолка, из щелей в стенах, отовсюду — из самого удобного местечка, под прикрытием своей бестелесности, своей неузнаваемости. Ей стало тревожно, когда она подумала об этом. Только теперь она поняла свою ошибку. Она ничего не сможет объяснить, рассказать и никого не сможет утешить. Ни одно живое существо не узнает о ее превращении. Теперь — единственный раз, когда все это ей нужно, — у нее нет ни рта, ни рук для того, чтобы все поняли, что она здесь, в своем углу, отделенная от трехмерного мира непреодолимым

расстоянием. В этой своей новой жизни она совсем одинока и ощущения ей совершенно неподвластны. Но каждую секунду что-то вибрировало в ней, по ней пробегала дрожь, заполняя ее всю и заставляя помнить, что есть другой материальный мир, который движется вокруг ее собственного мира. Она не слышала, не видела, но знала, что можно слышать и видеть. И там, на вершине высшего мира, она поняла, что ее окружает аура мучительной тоски.

Секунды не прошло — в соответствии с нашими представлениями о времени, — как она совершила этот переход, а она уже стала понемногу понимать законы и размеры нового мира. Вокруг нее кружился абсолютный и окончательный мрак. До каких же пор будет длиться эта мгла? И привыкнет ли она к ней в конце концов? Тревожное чувство усилилось, когда она поняла, что утонула в густом, непроницаемом мраке: она — в преддверии рая? Она вздрогнула. Вспомнила все, что когда-либо слышала о лимбе. Если она и вправду там, рядом с ней должны парить другие невинные души, души детей, умерших некрещеными, которые жили и умирали на протяжении тысяч лет. Она попыталась отыскать во мраке эти существа, которые, вероятно,

еще более невинны и простодушны, чем она. Полностью отделенные от материального мира, обреченные на сомнамбулическую и вечную жизнь. Может быть, *малыш* здесь, ищет выход, чтобы вернуться в свою телесную оболочку.

Но нет. Почему она должна оказаться в преддверии рая? Разве она умерла? Нет. Произошло изменение состояния, обыкновенный переход из материального мира в мир более легкий, более удобный, где стираются все измерения.

Здесь не надо страдать от подкожных насекомых. Ее красота растворилась. Теперь, когда все так просто, она может быть счастлива. Хотя... о! не вполне, потому что сейчас ее самое большое желание — съесть апельсин — стало невыполнимым. Это была единственная причина, по которой она хотела вернуться в прежнюю жизнь. Чтобы избавиться от терпкого привкуса, который продолжал преследовать ее после перехода. Она попыталась сориентироваться и сообразить, где кладовая, и хотя бы почувствовать прохладный и терпкий аромат апельсинов. И тогда она открыла новую закономерность своего мира: она была в каждом уголке дома, в патио, на потолке и даже в апельсине *мальша*. Она заполняла весь материальный мир и мир потусторонний. И в

то же время ее не было нигде. Она снова встревожилась. Она потеряла контроль над собой. Теперь она подчинялась высшей воле, стала бесполезным, нелепым, ненужным существом. Непонятно почему, ей стало грустно. Она почти сучала по своей красоте — красоте, которую по глупости не ценила.

Внезапно она оживилась. Разве она не слышала, что невинные души могут по своей воле проникать в чужую телесную оболочку? В конце концов, что она потеряет, если попытается? Она стала вспоминать, кто из обитателей дома более всего подошел бы для этого опыта. Если ей удастся осуществить свое намерение, она будет удовлетворена: она сможет съесть апельсин. Она перебрала в памяти всех. В этот час слуг в доме не бывает. Мать еще не пришла. Но непреодолимое желание съесть апельсин вместе с любопытством, которое вызывал в ней опыт реинкарнации, вынуждали ее действовать как можно скорее. Но не было никого, в кого можно было бы воплотиться. Причина была нешуточной: дом был пуст. Значит, она вынуждена вечно жить отделенной от внешнего мира, в своем мире, где нет никаких измерений, где нельзя съесть апельсин. И все — по глупости. Уж лучше было бы еще не-

сколько лет потерпеть эту жестокую красоту, чем исчезнуть навсегда, стать бесполезной, как поверженное животное. Но было уже поздно.

Разочарованная, она хотела где-то укрыться, где-нибудь вне вселенной, там, где она могла бы забыть все свои прошлые земные желания. Но что-то властно не позволяло ей сделать это. В неизведанном ею пространстве открылось обещание лучшего будущего. Да, в доме есть некто, в кого можно воплотиться: кошка! Какое-то время она колебалась. Трудно было представить себе, как это можно — стать животным. У нее будет мягкая белая шерстка, и она всегда будет готова к прыжку. Она будет знать, что по ночам глаза ее светятся, как раскаленные зеленые угли. У нее будут белые острые зубы, и она будет улыбаться матери от всего своего дочернего сердца широкой и доброй улыбкой зверя. Но нет!.. Этого не может быть. Она вдруг представила: она — кошка, и бежит по коридорам дома на четырех еще непривычных лапах, легко и непринужденно помахивая хвостом. Каким видится мир, если смотреть на него зелеными сверкающими глазами? По ночам она будет мурлыкать, подняв голову к небу, и просить, чтобы люди не заливали цементом из лунного света глаза *малыша*, который ле-

жит лицом кверху и пьет росу. Возможно, если она будет кошкой, ей все равно будет страшно. И возможно, в довершение всего она не сможет съесть апельсин своим хищным ртом. Вселенский холод, родившийся у самых истоков души, заставил ее задрожать при этой мысли. Нет. Перевоплотиться в кошку невозможно. Ей стало страшно оттого, что однажды она почувствует на небе, в горле, во всем своем четвероногом теле непреодолимое желание съесть мышь. Наверное, когда ее душа поселится в кошачьем теле, ей уже не захочется апельсина, ее будет мучить отвратительное и сильное желание съесть мышь. Ее затрясло, стоило ей представить, как она, поймав мышь, держит ее в зубах. Она почувствовала, как та бьется, пытаясь вырваться и убежать в нору. Нет. Только не это. Уж лучше жить так, в далеком и таинственном мире невинных душ.

Однако тяжело было смириться с тем, что она навсегда покинула жизнь. Почему ей должно будет хотеться есть мышей? Кто будет главенствовать в этом соединении женщины и кошки? Будет ли главным животный инстинкт, примитивный, низменный, или его заглушит независимая воля женщины? Ответ был прозрачно ясен. Зря она боялась. Она воплотится в кошку и съест

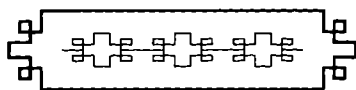
апельсин. К тому же она станет необычным существом — кошкой, обладающей разумом красивой женщины. Она будет привлекать всеобщее внимание... И тут она впервые поняла, что самой главной ее добродетелью было тщеславие женщины, полной предрассудков.

Подобно насекомому, которое шевелит уси-ками-антеннами, она направила свою энергию на поиски кошки, которая была где-то в доме. В этот час та, должно быть, дремлет на каминной полке и мечтает проснуться со стебельком валерианы в зубах. Но там кошки не было. Она снова поискала ее, но вновь не нашла на камине. Кухня была какая-то странная. Углы ее были не такие, как раньше, не те прежние темные углы, затянутые паутиной. Кошки нигде не было. Она искала ее на крыше, на деревьях, в канавах, под кроватью, в чулане. Все показалось ей изменившимся. Там, где она ожидала увидеть, как обычно, портреты своих предков, были только флаконы с мышьяком. И потом она постоянно находила мышьяк по всему дому, но кошка исчезла. Дом был не похож на прежний. Что случилось со всеми предметами? Почему ее тринадцать любимых книг покрыты теперь толстым слоем мышьяка? Она вспомнила об апельсиновом дереве в патио. От-

правилась на поиски, предполагая найти его около *малыша*, в его яме, полной воды. Но апельсинового дерева на месте не было, и малыша тоже не было — только горсть мышьяка и пепла под тяжелой могильной плитой. Она, несомненно, спала. Все было другим. Дом был полон запаха мышьяка, который ударял в ноздри, как будто она находилась в аптеке.

Только тут она поняла, что прошло уже три тысячи лет с того дня, когда ей захотелось съесть апельсин.





## *Огорчение для троих сомнамбул*

**И** вот она теперь там, покинутая, в дальнем углу дома. Кто-то сказал нам — еще до того, как мы принесли ее вещи: одежду, еще хранящую лесной дух, почти невесомую обувь для плохой погоды, — что она не сможет привыкнуть к неторопливой жизни, без вкуса и запаха, где самое привлекательное — это жесткое, будто из камня и извести, одиночество, которое постоянно давит ей на плечи. Кто-то сказал нам — и мы вспомнили об этом, когда прошло уже много времени, — что когда-то у нее тоже было детство. Возможно, тогда мы просто не поверили сказанному. Но сейчас, видя, как она сидит в углу, глядя удивленными глазами и приложив палец к губам, пожалуй, поняли, что у нее и вправду когда-то было детство, что она знала недол-

---

© Перевод. А. Борисова, 2011.

говечную прохладу дождя и что в солнечные дни от нее, как это ни странно, падала тень.

Во все это — и во многое другое — мы поверили в тот вечер, когда поняли, что, несмотря на ее пугающую слитность с низшим миром, она полностью очеловечена. Мы поняли это, когда она, будто у нее внутри разбилось что-то стеклянное, начала издавать тревожные крики; она звала нас, каждого по имени, звала сквозь слезы, пока мы все не сели рядом с ней; мы стали петь и хлопать в ладоши, как будто этот шум мог склеить разбитое стекло. Только тогда мы и поверили, что у нее когда-то было детство. Получается, что благодаря ее крикам нам что-то открылось; вспомнилось дерево и глубокая река, когда она поднялась и, немного наклонившись вперед, не закрывая лицо передником, не высморкавшись, все еще со слезами, сказала нам:

— Я никогда больше не буду улыбаться.

Мы молча, все трое, вышли в патио, может быть, потому, что нас одолевали одни и те же мысли. Может, мысли о том, что не стоит зажигать свет в доме. Ей хотелось побыть одной — быть может, посидеть в темном углу, последний раз заплетая косу, — кажется, это было единственным, что уцелело в ней из прежней жизни, после того как она стала зверем.

В патио, окруженные тучами насекомых, мы сели, чтобы подумать о ней. Мы и раньше так делали. Мы, можно сказать, делали это каждый день на протяжении всех наших жизней.

Однако та ночь отличалась от других: она сказала тогда, что никогда больше не будет улыбаться, и мы, так хорошо ее знавшие, поверили, что кошмарный сон станет явью. Мы сидели, образовав треугольник, представляя себе, что в его середине она — нечто абстрактное, неспособное даже слушать бесчисленное множество тикающих часов, отмеряющих четкий, до секунды, ритм, который обращал ее в тлен. «Если бы у нас достало смелости желать ей смерти», — подумали мы все одновременно. Но мы так любили ее безобразную и ледящую душу, подобную жалкому соединению наших скрытых недостатков.

Мы выросли давно, много лет тому назад. Она, однако, была еще старше нас. И этой ночью она могла сидеть вместе с нами, чувствуя ровный пульс звезд, в окружении крепких сыновей. Она была бы уважаемой сеньорой, если бы вышла замуж за добропорядочного буржуа или стала бы подругой достойного человека. Но она привыкла жить в одном измерении — подобная прямой линии, наверное, потому, что ее пороки и добро-

детели было невозможно увидеть в профиль. Мы узнали об этом уже несколько лет назад. Мы — однажды утром встав с постели — даже не удивились, когда увидели, что она совершенно неподвижно лежит в патио и грызет землю. Она тогда улыбнулась и посмотрела на нас; она выпала из окна второго этажа на жесткую глину патио и осталась лежать, несгибаемая и твердая, уткнувшись лицом в грязь. Позже мы поняли: единственное, что осталось неизменным, — это страх перед расстоянием, естественный ужас перед пустотой. Мы подняли ее, придерживая за плечи. Она была не одеревенелая, как нам показалось вначале. Наоборот, все в ней было мягким, податливым, будто у еще не остывшего покойника.

Когда мы повернули ее лицом к солнцу — словно поставили перед зеркалом, — глаза ее были широко открыты, рот выпачкан землей, погребальный привкус которой, должно быть, был ей известен. Она оглядела нас потухшим, бесполом взглядом, от которого создалось ощущение — я держал ее на руках, — что ее будто нет. Кто-то сказал нам, что она умерла; но осталась ее холодная, спокойная улыбка — она всегда так улыбалась, когда по ночам бродила без сна по

дому. Она сказала, что не понимает, как добралась до патио. Сказала, что ей стало жарко, что она услышала назойливое, пронзительное стрекотание сверчка, который, как ей казалось — так она сказала, — хочет разрушить стену ее комнаты, и что, прижавшись щекой к цементному полу, она вспомнила все воскресные молитвы.

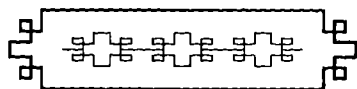
Однако мы знали, что она не могла вспомнить ни одной молитвы, поскольку мы уже знали, что она давно потеряла представление о времени, и тут она сказала, что уснула, поддерживая стену комнаты изнутри, тогда как сверчок толкал ее снаружи, и что она глубоко спала, когда кто-то, взяв ее за плечи, отодвинул стену и повернул ее лицом к солнцу.

В ту ночь, сидя в патио, мы поняли, что она уже не будет улыбаться. Может быть, нам заранее стало горько от ее равнодушной серьезности, ее своевольной и необъяснимой привычки жить в углу. Нам стало горько, как в тот день, когда мы впервые увидели, что она сидит в углу, вот как сейчас; и мы услышали, как она говорит, что не будет больше бродить по дому. Сначала мы не поверили ей. Мы столько месяцев подряд видели, как она ходит по комнатам в любое время суток, держа голову прямо и опустив плечи, не

останавливаясь и никогда не уставая. По ночам мы слышали неясный шорох ее шагов, когда она проходила меж двух мраков, и случалось, не раз, лежа в кроватях, просыпались, слушая ее таинственную поступь, и мысленно следили за ней по всему дому. Однажды она сказала, что когда-то видела сверчка внутри круглого зеркала, погруженного, утопленного в его твердую прозрачность, и что она проникла внутрь зеркальной поверхности, чтобы достать его. Мы не поняли, что она хотела этим сказать, но смогли убедиться, что одежда на ней мокрая и прилипает к телу, будто она только что купалась в пруду. Не найдя объяснения этому, мы решили покончить с насекомыми в доме: уничтожить причину мучившего ее наваждения.

Мы вымыли стены, велели подрезать кустарник в патио, и получилось так, будто мы счистили грязь с тишины ночи. Но мы уже не слышали, как она ходит, как говорит о сверчках, — до того дня, когда, поев в последний раз, она оглядела всех нас, села, не отрывая от нас взгляда, на цементный пол и сказала нам: «Я буду сидеть здесь»; и мы содрогнулись, потому что увидели, как она становится чем-то, что очень сильно похоже на смерть.

С тех пор прошло много времени, и мы уже привыкли видеть ее сидящей там, на полу, с наполовину расплетенной косой, будто она расплетала ее, уйдя в свое одиночество, и там затерялась, несмотря на то что была нам видна. И потому мы поняли, что она больше никогда не будет улыбаться; она сказала это так же уверенно и убежденно, как когда-то — что она уже не будет ходить. У нас появилась уверенность, что пройдет немного времени и она скажет нам: «Я больше не буду видеть» или: «Я больше не буду слышать», и мы поймем тогда, что в ней достаточно человеческого, чтобы по собственной воле погасить свою жизнь, и что одновременно органы чувств отказывают ей, один за другим, и так будет до того дня, когда мы найдем ее прислонившейся к стене, будто она заснула впервые в жизни; может быть, это произойдет еще не скоро, но мы трое, сидя в патио, хотели в ту ночь услышать ее пронзительный и неумолчный плач, похожий на звон бьющегося стекла, чтобы хоть тешить себя иллюзией, что в доме родился ребенок (он или она). Нам хотелось верить, что она родилась еще раз.



## *Диалог с зеркалом*

**Ж**ил некогда человек, который, проспав несколько часов сном праведника, забывшего о заботах и тревогах недавнего рассвета, проснулся, когда солнце было уже высоко и городской шум наполнял — всю целиком — комнату, дверь в которую была приоткрыта. Опять ему на ум пришла — таково было состояние его духа — неотвязная мысль о смерти, о всеобъемлющем страхе, о том комке глины, частью которого стал его брат и которая, должно быть, уже забила ему рот. Однако веселое солнце, освещавшее сад, переключило его внимание на жизнь более обычную, более земную и, может быть, менее реальную, чем его пугающая внутренняя жизнь. Это был обычный человек, заезженная рабочая скотина, который волей-неволей знал — не говоря

---

© Перевод. А. Борисова, 2011.



уже о том, что у него расшатанная нервная система и увеличенная печень, — ему никогда не спать сном добропорядочного буржуа. Он вспомнил о финансовых головоломках, которыми занимался на работе, — в них, в этой числовой путанице, было что-то от старой доброй математики.

Двенадцать минут девятого. Наверняка опоздаю. Он провел по щеке кончиками пальцев. Шершавая кожа, покрытая однодневной щетиной, показалась ему на ощупь жесткой. Потом ладонью, с отсутствующим видом, тщательно ощупал лицо — спокойно и уверенно, как хирург, знающий, где расположена опухоль, — убедился, что, если немного нажать на эластичную поверхность, можно обнаружить твердую субстанцию некой истины, которая порой тревожила его. Там, под пальцами, — и еще глубже, там, где кости, — крепкое анатомическое строение хранило неизменный порядок всех его составляющих, вселенную переплетенных тканей, маленьких миров, которые поддерживали снизу доверху каркас из мяса, менее постоянный, чем естественное и окончательное расположение костей.

Да. Уйдя с головой в мягкую подушку, удобно устроив тело так, чтобы отдыхали все его орга-

ны, он ощущал, что у жизни горизонтальный привкус и что эта позиция — самая удобная для его принципов. Он знал: стоит смежить веки — долгая, утомительная работа, поджидавшая его, станет казаться чем-то простым, не зависящим от времени и пространства; совсем необязательно, выполняя эту работу, причинять хоть малейшее неудобство тому соединению химических элементов, которым является его тело. Напротив, если вот так смежить веки, будет происходить огромная экономия жизненных ресурсов, будет полностью исключен органический износ. Его тело, погруженное в глубину снов, могло бы двигаться, жить, развиваться в другие формы существования материи, которыми располагает реальный мир, потому что этого хочет его внутренний мир, яркий мир его эмоций, — более того, развиваться в такие формы существования, благодаря которым потребность жить была бы полностью удовлетворена без всякого ущерба для физической оболочки. И тогда куда более легкой была бы задача сосуществования с людьми и предметами, причем жить можно так же, как в реальном мире. Такие действия, как бритье, поездка в автобусе, математические уравнения на работе, во сне осуществляются просто и

легко и оставляют по себе чувство внутреннего удовлетворения.

Да. Лучше было проделать это своеобразно — так, как он делал раньше: надо найти в освещенной комнате зеркало. Он уже было взялся за дело, но в этот момент грузовая машина, тяжелая и нелепая, разрушила хрупкую субстанцию охватившего его сна. Когда он снова вернулся в мир условностей, все показалось ему более сложным. Однако необычная теория, так его разнежившая, сузила границы понимания, и из глубин существа он почувствовал, как его рот сдвигается куда-то в сторону, и это означает произвольную улыбку. Но хотя и с отвращением, он, в глубине души, продолжал улыбаться. «Надо побриться, я должен быть во всеоружии через двадцать минут». Умыться — восемь, если бриться быстро — пять, завтрак — семь. Противные лежалые сосиски. Магазин Мабель — приправы, выпечка, лекарственные препараты, ликеры; это похоже на чей-то ящик, я знаю чей, — забыл слово. (Автобус по вторникам ломается и опаздывает на семь минут.) Пендора. Нет, Пельдора. Не так. Всего полчаса. Времени нет. Забыл, как называется ящик, где есть все на свете. Педора. Начинается на «п».

Стоя в ванной комнате в халате, заспанный, растрепанный и небритый, он бросил недовольный взгляд в зеркало. Слегка вздрогнул, поняв, как похоже то, что он увидел в зеркале, на его умершего брата, когда тот вставал по утрам. То же усталое лицо, тот же взгляд еще не проснувшегося человека.

Он изменил выражение лица, чтобы на отражение в зеркале стало приятно смотреть, однако зеркало вернуло ему — вопреки желанию — насмешливую мину. Вода. Горячая струя хлынула булькающим потоком, и облако густого белого пара поднялось между ним и зеркалом. И тут, заполнив образовавшийся перерыв быстрыми движениями, удастся привести к согласию внутреннее время и время внешнее — подвижное, словно ртуть.

Из облака выступили острые края холодной, как мороженое, металлической пряжки ремня для бритвы; когда облако рассеялось, зеркало показало ему другое лицо — лицо, затуманенное физическим удовольствием и математическими законами, следуя которым геометрия по-новому определяла объем и конкретную форму света. Там, напротив себя, он видел лицо, биение пульса, удары собственного сердца этого другого «я».

он видел его меняющееся выражение — серьезность, приветливую и насмешливую одновременно, выглядывающую из влажного стекла, которое еще удерживало в себе пар.

Он улыбнулся. (Он улыбнулся.) Он показал — самому себе — язык. (Он показал — тому, кто на самом деле, — язык.) У того, в зеркале, язык был разбухший, с желтым налетом. «У тебя неважно с желудком», — поставил он диагноз (молча — просто показал жестом) и сделал гримасу. Снова улыбнулся. (Снова улыбнулся.) Но теперь он заметил нечто глупое, искусственное и фальшивое в улыбке, которую ему вернули. Он пригладил волосы (он пригладил волосы) правой (левой) рукой, чтобы тут же вернуть обратно виноватый взгляд (и исчезнуть). Его самого удивляло, что он стоит перед зеркалом и гримасничает, как придурок. Однако он подумал, что все перед зеркалом ведут себя именно так, и от этого возмутился еще более, поскольку тогда получалось, что весь мир состоит из придурков и он только вносит свою лепту в самое обычное придурочное дело. Восемь семнадцать.

Он знал, надо поторопиться, если он не хочет распрощаться с агентством. С агентством, которое с некоторых пор превратилось для него в

место отправки на собственные ежедневные похороны.

Мыльная пена, взбитая кисточкой, превратилась в мягкую голубоватую белизну — и это вернуло ему все его тревоги. На какой-то момент мыльная жижа растеклась по лицу, заполнила паутинку артерий и облегчила работу всех жизненных механизмов... Так что, вернувшись к привычным мыслям, он решил: в намыленных мозгах скорее найдет слово, с которым хотел сравнить магазин Мабель. Пелдора. Барахло Мабель. Палдора. Приправы или аптекарские товары. Или и то и другое: Пендора.

Пены в мыльнице было уже вполне достаточно. Однако он продолжал как одержимый взбивать ее кисточкой. От созерцания мыльных пузырей он развеселился, как большой ребенок, — такое же надрывное веселье, через силу, бывает, когда пьешь дешевый ликер. Еще одно усилие в поисках нужных звуков — и слово вспыхнуло, созревшее и яростное; выплыло на поверхность густой мутной воды из его неподатливой памяти. Но и на этот раз, как раньше, разрозненные и разобщенные куски единого целого не соединились столь точно, чтобы достичь органического единства, и он уже был готов навсегда отказаться от этого слова: Пендора!

Пора было бросить эти бесполезные поиски — оба подняли глаза, и взгляды их встретились, — его брат-близнец мягкими и точными движениями левой руки, в которой он держал намыленную кисточку, начал покрывать подбородок и щеки бело-голубой прохладной пеной — он делал то же самое правой. Он отвел глаза, и геометрическое расположение часовых стрелок предложило ему решение еще одной беспокоящей его теоремы: восемь восемнадцать. Всему виной его медлительность. С твердым намерением кончить бриться как можно скорее он, оттопырив мизинец, крепко взялся за бритву.

Прикинув, что побреется за три минуты, он поднял правую (левую) руку на высоту правого (левого) уха — отметил мимоходом, что нет ничего более трудного, чем бриться так, как это делает человек в зеркале. Он произвел серию сложнейших подсчетов, намереваясь вычислить скорость света, который, чтобы воспроизвести каждое его движение, почти мгновенно проделывает путь туда и обратно. Но эстет, живший в нем, — несмотря на борьбу приблизительно равных сил, что продолжалась во времени, равном квадратному корню скорости, которую он пробовал узнать, — победил математика, и мысль

человека от искусства двинулась навстречу наблюдениям над лезвием, которое окрашивалось в зеленый, голубой или белый цвет в зависимости от светового луча. Быстро — оставив в покое и математика, и эстета — он провел лезвием по правой (левой) щеке до меридиана губ и с удовлетворением отметил, что левая щека изображения, окаймленная хлопьями пены, видится чисто выбритой.

Он еще не успел стряхнуть пену с лезвия, как из кухни донесся острый запах жаркого. Под языком у него защипало, и он почувствовал, как рот наполняется легкой тонкой слюной с сильным привкусом растопленного масла. Жареные почки. Наконец-то от него отцепился приставший было магазин Мабель. Пендора. Тоже нет. Бульканье почек в соусе донеслось до его слуха, и тут же вспомнилась барабанная дробь дождя, совсем недавно, на рассвете, — так похоже по звуку. А потому надо не забыть надеть боты и плащ. Почки под соусом. В этом никакого сомнения.

Из всех его органов чувств ни один не вызывал такого сильного недоверия, как обоняние. Но над всеми пятью чувствами, в том числе и над вкусовыми ощущениями, которые радовали



только слизистую оболочку рта, в тот момент главенствовала необходимость как можно скорее закончить бритье. Это и было самой насущной необходимостью всех органов чувств. Точными и легкими движениями — математик и эстет, оба показали друг другу зубы — он повел лезвие от себя (к себе) назад (вперед), до левого (правого) уголка губ, и в это же время левой (правой) рукой поглаживал кожу, смягчая прикосновение металлического лезвия, от себя (к себе) назад (вперед) и сверху (сверху) вниз, заканчивая — оба при этом уже задыхались — одновременно для обоих работу.

И вот, уже закончив, похлопывая себя по левой щеке правой рукой, он вдруг увидел в зеркале собственный локоть. Локоть показался ему странно большим, неузнаваемым, а выше, вздрогнув, он увидел чужие глаза, тоже большие и тоже неузнаваемые, вытаращенные глаза, искавшие бритву. Кто-то пытался убить его брата. Могучей рукой. Кровь! Так всегда бывает, когда торопишься.

Он ощупал лицо пальцами — искал порез; однако пальцы не оказались запачканными кровью: искать порез дальше смысла не было. Он испугался. На его лице порезов не было, но там,

в зеркале, у двойника кровь на лице была. Омерзительное чувство тревоги, что появилось нынешней ночью, в глубине его сознания становилось реальностью. Сейчас, перед зеркалом, у него снова появилось ощущение раздвоения личности. Он посмотрел на подбородок (круглый; лица их были одинаковы, неотличимы одно от другого). Эта щетина около ямки на щеке — ее нужно сбрить. Ему показалось, что торопливый жест его изображения, пожалуй, был несколько судорожным. Разве может быть, даже учитывая быстроту, с которой он побрился, — математик полностью овладел ситуацией, — что скорость света не успевает зафиксировать каждое его движение? Мог он, торопясь, опередить изображение в зеркале и побриться раньше него? А может быть, — и тут человек от искусства, после короткой борьбы, вытеснил математика, — изображение живет собственной жизнью, оно решило — чтобы жить в своем времени — закончить работу позже, чем это сделает человек во внешнем мире?

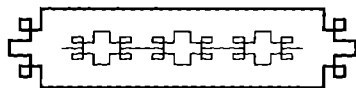
Охваченный беспокойством, он открыл горячую воду и почувствовал, как поднимается теплый густой пар, а когда стал умываться, в ушах у него зазвучало какое-то горловое булька-

нье. Прикосновение к коже свежестыранного, слегка шершавого полотенца вызвало у него глубокий вздох удовлетворения, словно у вымывшегося животного. Пандора! Вот это слово: Пандора.

Он с удивлением посмотрел на полотенце и в тревоге закрыл глаза, а между тем человек в зеркале рассматривал его большими удивленными глазами, и на щеке его была видна багровая царапина.

Он открыл глаза и улыбнулся (улыбнулся). Все это было уже не важно. Магазин Мабель — это ящик Пандоры.

Теплый аромат почек под соусом достиг его обоняния, на этот раз запах был очень настойчивым. И ему стало хорошо — он почувствовал, как в душе у него воцаряется благодный покой: злая собака тайников его души завилыла хвостом.



## *Глаза голубой собаки*

**И** так, она взглянула на меня. Показалось, будто она впервые меня видит. Но когда она обернулась за керосиновой лампой и я снова почувствовал на себе ее одновременно невесомый и пристальный взгляд, то осознал, что сам впервые по-настоящему увидел ее. Я закурил сигарету. Глубоко затянулся терпким дымом, сместил центр тяжести стула на одну из ножек и повернулся. Тут я увидел ее так, словно она все ночи стояла там, у лампы, и смотрела на меня. Некоторое время мы смотрели друг на друга. Я — присев и балансируя на ножке стула. Она — стоя, протянув к лампе длинную изящную руку. Я видел ее веки, как всегда по вечерам, подкрашенные. И, вспомнив то, всегдашнее, промолвил:

---

© Перевод. С. Марков, 2011.

— Глаза голубой собаки.

Держа руку над лампой, она сказала:

— Вот именно. И мы уже никогда не забудем этого. — Вдохнув, она шагнула из круга света: — Глаза голубой собаки. Я всюду это писала.

Я наблюдал, как она приближается к туалетному столику. Как, появившись в лунном круге зеркала, смотрит на меня, будто из зазеркалья, не отличающегося, впрочем, от нашего мира. Смотрит, раскрывая перламутрово-розовую пудреницу и припудривая нос, своими огромными опаляюще пепельными глазами. Затем она закрыла пудреницу, вновь подошла к лампе и произнесла:

— Если эта комната еще кому-нибудь приснится, я буду вынуждена вернуться к себе. — И опять вытянула над лампой длинную вздрагивающую руку, ту же, которую согревала до того, как села у зеркала. — А ты не боишься холода.

— Иногда.

— Но сейчас тебе холодно.

И я понял, отчего не мог не быть одиноким. Холод удостоверял мое одиночество.

— Да, зябко. Странно, ведь ночь теплая. Наверное, сползла простыня.

Она снова приблизилась к зеркалу, а я принялся вертеться на стуле, стараясь располагаться

к ней спиной. Но и не глядя на нее, я знал, что она делает. Видел, что она сидит у зеркала и смотрит мне в спину. Ее взгляд пронзал насквозь, а рука опять потянулась к губам, уже ярко накрашенным. Она была перед моими глазами, на гладкой стене, похожей на иное — не отражающее — зеркало. В нем я видел, что она сидит позади меня, и воображал, где она сейчас, будто на месте стены и в самом деле было зеркало.

— Я тебя вижу, — сказал я и как бы заметил на стене: она подняла ресницы и посмотрела на мою спину в глубине зеркала, на меня, отвернувшегося к стене.

Она опустила голову, не промолвив ни слова, направив свой взгляд на грудь. И я повторил:

— Я тебя вижу.

Подняв голову, она сказала:

— Не может быть.

Я спросил:

— Почему?

Она, вновь опустив голову, произнесла:

— Потому что ты смотришь в стену.

Я повернулся с зажатой в губах сигаретой. Она приблизилась к лампе, пока я смотрел в зеркало. Обжигаясь, протянула над огнем руки, как курица крылья, и тени от пальцев легли ей на лицо.

— Я все время мерзну, — призналась она. —  
Ледяной город. — Она повернулась в профиль,  
ее огненно-медное лицо было печальным.

— Согрейся, чтобы совсем не замерзнуть, —  
посоветовал я.

И она стала снимать с себя все.

— Я отвернусь.

Она ответила:

— Не стоит. Ты все равно видишь спиной. —  
Продолжая говорить, она разделась почти дон-  
га. Языки отблесков огня вылизывали ее тугую  
медную кожу.

Я сказал:

— Я хотел увидеть тебя такой, у тебя на коже  
живота глубокие поры, будто ты выточена из  
дерева.

Она застыла, еще до того, как я осознал, что  
слова мои вульгарны по отношению к ее наготы,  
и сказала, согреваясь в круге света от лампы:

— Порой мне представляется, что я из металла.

Минуту висело молчание, пока она медленно  
поворачивала руки над огнем.

Я сказал:

— Но иногда, в каких-то иных снах, я видел  
тебя бронзовой статуэткой в углу музея. Может,  
поэтому тебе так холодно.

И она сказала:

— Когда я сплю на левом боку, на сердце, то ощущаю, как тело делается пустым, а кожа превращается в лист железа. Когда кровь пульсирует, такое чувство, будто постукивают пальцами по животу, и я, лежа в постели, слышу медные звуки. Листы прокатной стали, как ты говоришь. — Она приблизилась к лампе.

Я сказал:

— Хотел бы тебя услышать.

Она сказала:

— Если мы когда-нибудь встретимся, ты прижмись ухом к моей спине, когда я сплю на левом боку, и услышишь, как я звучу. Я всегда хотела, чтобы ты так сделал.

Она глубоко вздохнула и добавила, что уже много лет не хочет ничего иного. Ее жизнь была ради встречи со мной. Встречи, пароль которой знали только мы: «Глаза голубой собаки». И она бродила по городу, твердя его во весь голос, дабы тот, единственный, мог услышать.

— Я та самая, что входит каждую ночь в твои сны и говорит: «Глаза голубой собаки».

Она сказала, что заходила в рестораны и, делая заказ по меню, говорила официантам: «Глаза голубой собаки». Официанты услужливо



кивали, но никто из них в своих снах не слышал о таком блюде. Она писала на салфетках, выцарапывала ножом на полировке столиков: «Глаза голубой собаки». И на покрытых пылью окнах отелей, железнодорожных станций, любых общественных заведений она писала пальцем: «Глаза голубой собаки». А однажды, подойдя к какой-то лавке, почувствовала тот же запах, что сопровождал в ее комнате сон обо мне. «Он должен быть тут», — решила она и вошла в лавку, облицованную новым блестящим кафелем. Подошла к продавцу:

— Мне беспрерывно снится человек, который говорит мне: «Глаза голубой собаки».

Продавец внимательно посмотрел ей в глаза, и она продолжила:

— Мне очень нужно найти его, говорящего в моих снах: «Глаза голубой собаки».

Продавец засмеялся и ушел за прилавок. А она глядела на блестящие плитки и чувствовала тот же запах. Открыла сумочку, опустилась на колени и ярко-красной помадой громадными буквами написала на плитках: «Глаза голубой собаки». Продавец снова приблизился к ней и сказал:

— Вы испачкали пол, сеньора. — И протянул ей влажную тряпку, сказав: — Сотрите.

И она рассказала, по-прежнему стоя у лампы, что весь день ползала на четвереньках, оттирая пол и твердя: «Глаза голубой собаки», а в дверях толпился народ, и все уверяли, будто у нее якобы поехала крыша.

Она умолкла, я сидел, балансируя в углу на ножке стула.

— Дни напролет стараюсь вспомнить фразу, которая поможет найти тебя, — произнес я. — Теперь мне кажется, что завтра утром я ее не забуду. Я повторяю ее во сне, а проснувшись, неизменно забываю слова, благодаря которым могу найти тебя.

Она сказала:

— Еще в первый раз ты сам их выдумал.

Я сказал:

— Я выдумал их потому, что увидел твои огромные пепельные глаза. И все же я не могу вспомнить эти слова утром.

Сцепив кисти и протянув их к лампе, она глубоко вздохнула и произнесла:

— Во всяком случае, мог бы вспомнить, в каком городе я их писала.

Крепко сжатые губы блестели в свете лампы.

— Я хочу прикоснуться к тебе, — сказал я.

Она подняла голову, направив на меня свой взгляд, опаляющий, как и ее руки; я понял, что наконец-то она увидела меня, раскачивающегося в углу на стуле.

— Ты никогда не говорил мне этого.

— Вот сейчас говорю, и это действительно так, — сказал я.

Нас разделяла лампа. Она попросила сигарету. Моя сигарета догорела до фильтра. Я забыл о том, что несколько минут назад закурил. Она сказала:

— Даже не знаю, почему не могу вспомнить, где я писала эту фразу.

— По той же причине, по какой я и завтра не смогу ее вспомнить.

Она печально промолвила:

— Нет. Потому, я думаю, что и это нам снится тоже.

Я встал и направился к ней. Она стояла за лампой, я обогнул ее, держа в руке сигареты и спички. Протянул ей сигарету. Она зажала ее губами и склонилась над лампой прежде, чем я зажег спичку. Я сказал:

— Во всех городах, на всех стенах нужно писать: «Глаза голубой собаки». Если завтра я вспомню эти слова, то отправлюсь искать надпись.

Она вновь подняла голову, сигарета у нее во рту дымилась. Вздохнула.

— Глаза голубой собаки, — вспоминая, сказала она, один глаз ее был прищурен, сигарета почти лежала на подбородке. Затем, взяв сигарету двумя пальцами, она сделала затяжку:

— Это совсем другое дело. Мне теперь тепло. — Она промолвила это не своим голосом, будто не просто проговорила эту фразу, а продекламировала с листа, поднеся его к огню. — Мне теперь делается... — она сжимала лист большим и указательным пальцами, поворачивая его так, чтобы и я сумел прочесть прежде, чем он сгорит, — ...тепло.

Но до того как он сгорел и опустился на пол невесомым, сморщенным пучком пепла, я сказал:

— Порой я боюсь тебя увидеть. Дрожу от холода у самого огня.

Несколько лет назад мы увидели друг друга. Порой, когда мы были уже вдвоем, кто-нибудь ронял ложку за стеной, и мы просыпались. Исподволь мы поняли, что наши отношения находятся в зависимости от самых заурядных вещей. Наши встречи и заканчивались всегда именно в то мгновение, когда утром кто-нибудь ронял ложку за стеной.

Стоя за лампой, она смотрела на меня. Я вспомнил, что именно так она смотрела на меня в том давнем сне, где я вертелся на стуле, стоявшем на задней ножке, желая постоянно быть лицом к лицу с незнакомкой с пепельно-серыми глазами. Это было во сне, когда я впервые спросил ее:

— Вы кто?

Она ответила:

— Я не помню.

Я сказал:

— Мы встречались с вами раньше, мне кажется.

Она произнесла с равнодушием в голосе:

— Может, в одном из снов я видела вас и эту комнату.

Я сказал:

— Да, теперь припоминаю.

Она сказала:

— Забавно. Потому что встречались мы в разных снах.

Она сделала подряд две затяжки. Стоя лицом к лампе, я взглянул на нее. Я вдруг разглядел ее всю, сверху донизу. Ее тело уже было не из холодной и жесткой, но из желтоватой мягкой меди. Я вновь сказал:

— Я хочу прикоснуться к тебе.

Она ответила:

— Но ты все потеряешь.

Я сказал:

— И пусть. Чтобы вновь обрести друг друга, нам нужно просто вновь уснуть. — И я протянул к ней руку.

Она не отклонилась.

— Но ты все потеряешь, — заметила она прежде, чем я ее коснулся. — И, боюсь, проснемся мы невесть где.

Но я твердил:

— И пусть.

Она сказала:

— Разумеется, мы обретем друг друга, если вновь уснем. Но ты же все забудешь, когда проснешься.

Я вернулся в угол. Она стояла за лампой; согретья руки над огнем. Не дойдя до стула, я услышал:

— Я просыпаюсь в полночь, долго верчусь в разворошенной постели и до рассвета твержу: «Глаза голубой собаки».

Я повернулся лицом к стене. Сказал, не глядя на нее:

— Скоро рассветет. Пробьет два, кончится сон, но у нас еще есть время.

Я направился к двери. Уже взявшись за ручку, услышал ее неменяющийся голос:

— Не отворяй дверь, в коридоре полно тяжелых снов.

— Почему ты так думаешь?

— Убедившись, что сплю на левом боку, на сердце, я только что вернулась оттуда.

Я немного приоткрыл дверь. Отодвинув створку, ощутил в легком прохладном ветерке запах пробуждающейся земли, полевой росы. Она вновь произнесла свои слова. Еще чуточку приоткрыв дверь, я повернулся и произнес:

— Мне кажется, тут нет коридора. Я чувствую запах росы в открытом поле.

Она ответила:

— Я лучше тебя это знаю. Тут, за дверью, спит женщина, видящая во сне поле. — Она скрестила руки над огнем: — Женщина, всю жизнь мечтавшая жить в деревне, в своем доме, которой никак не удается вырваться из города.

Я вспомнил, что в одном из давних забытых снов видел эту женщину, но знал — дверь была приоткрыта, — через тридцать минут уже наступит время завтрака. Я сказал:

— По крайней мере, чтобы проснуться, я должен уйти.

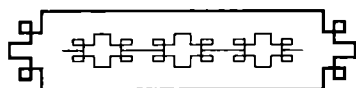
Снаружи зашумел ветер, но сразу стихло, и я услышал дыхание тревожно спящего человека. Ветер замер. И уже не пахло полем.

— Я узнаю тебя утром, когда увижу на улице женщину, которая пишет на стенах: «Глаза голубой собаки».

С улыбкой, уходящей в неизведанное и непостижимое, она проговорила:

— Нет, ты ничего не вспомнишь за весь день. — И вновь вытянула свои длинные руки над огнем, лицо ее было подернуто неизбывной печалью. — Ты единственный, проснувшись, ничего не помнишь из того, что было во сне.





### ***Женщина, которая приходила ровно в шесть***

**Д**верь открылась, скрипя. В этот час ресторан Хосе был пуст. Било шесть, а Хосе знал: постоянные посетители начинают собираться не раньше половины седьмого. Каждый клиент ресторана был неизменно верен себе; и вот с последним, шестым, ударом вошла женщина и, как всегда, молча подошла к высокому вращающемуся табурету. Во рту она держала незажженную сигарету.

— Привет, королева, — сказал Хосе, глядя, как она усаживается.

Он направился к другому краю стойки, на ходу протирая сухой тряпкой ее стеклянную поверхность. Хосе делал так каждый раз, когда кто-нибудь входил. Даже при виде этой женщины, с

---

© Перевод. Э. Брагинская, 2011.

которой был дружен, он — рыжий краснощекий толстяк — всегда разыгрывал роль усердного хозяина.

— Что ты хочешь сегодня? — спросил Хосе.

— Перво-наперво я хочу, чтобы ты был настоящим кабальеро.

Она сидела на самом крайнем в ряду табуретке и, облокотившись о стойку, покусывала сигарету. Заговорив, она выпятила чуть-чуть губы, чтобы Хосе обратил внимание на сигарету.

— Я не заметил, — пробормотал он.

— Ты вообще ничего не замечаешь, — сказала женщина.

Хосе положил тряпку, шагнул к темным, пахнущим смолой и старой древесиной шкафам и достал оттуда спички. Она наклонилась, чтобы прикурить от огонька, спрятанного в грубых волосатых руках. Он увидел ее густые волосы, обильно смазанные дешевым жирным лосьоном. Увидел чуть опавшую грудь в вырезе платья, когда женщина выпрямилась с зажженной сигаретой.

— Ты сегодня красивая, королева, — сказал Хосе.

— Брось свои глупости, — сказала женщина. — Этим я с тобой расплачиваться не стану, не надейся.

— Да я совсем о другом, королева, — сказал Хосе. — Не иначе, ты съела что-нибудь не то за обедом.

Женщина затянулась крепким дымом, скрестила руки, все так же облокотившись о стойку, и стала глядеть на улицу сквозь широкое стекло ресторана. На лице ее была тоска. Привычная и ожесточенная тоска.

— Я тебе сделаю отличный бифштекс.

— Мне пока нечем платить.

— Тебе уже три месяца нечем платить, а я все равно готовлю для тебя самое вкусное, — сказал Хосе.

— Сегодня все иначе, — мрачно сказала женщина, не отрывая глаз от улицы.

— Каждый день одно и то же, — сказал Хосе. — Каждый день часы бьют шесть, тыходишь, говоришь, что голодна как волк, ну а я готовлю тебе что-нибудь вкусное. Разве что сегодня ты не говоришь, что голодна как волк, а что, мол, все иначе.

— Так оно и есть, — сказала женщина. Она посмотрела на Хосе, который что-то искал в холодильнике, и почти тут же перевела взгляд на часы, стоящие на шкафу. Было три минуты седьмого. — Сегодня все иначе. — Она выпустила

дым и сказала взволнованно и резко: — Сегодня я пришла не в шесть, поэтому все иначе, Хосе.

Он посмотрел на часы.

— Да пусть мне отрубят руку, если эти часы отстают хоть на минуту, — сказал он.

— Не в этом дело, Хосе. А в том, что я пришла не в шесть, — сказала женщина. — Я пришла без четверти шесть.

— Пробило шесть, моя королева, ты вошла, когда пробило шесть, — сказал Хосе.

— Я здесь уже четверть часа, — сказала женщина.

Хосе подошел к ней. Приблизил огромное багровое лицо и потер свое веко указательным пальцем:

— Ну-ка дыхни!

Женщина откинулась назад. Она была серьезная, чем-то удрученная, поникшая. Но ее красил легкий налет печали и усталости.

— Брось эти глупости, Хосе. Ты сам знаешь, что я не пью уже полгода.

— Расскажи кому-нибудь другому, — сказал он, — только не мне. Готов поклясться, что вы вдвоем выпили целый литр.

— Всего два глотка с моим приятелем, — сказала женщина.

— А-а! Тогда все ясно, — протянул Хосе.

— Ничего тебе не ясно, — возразила женщина. — Я здесь уже четверть часа.

Хосе пожал плечами.

— Ну пожалуйста. Четверть так четверть, если тебе хочется, — сказал он. — В конце концов, какая разница — десятью минутами раньше, десятью минутами позже.

— Большая разница, Хосе, — сказала женщина и, вытянув руки на стеклянной стойке, с безразличным, отсутствующим видом добавила: — Дело не в том, что мне так нужно, а в том, что я уже четверть часа здесь. — Она снова посмотрела на стрелки: — Да нет, уже двадцать минут.

— Пусть так. Я бы подарил тебе весь день и ночь в придачу, лишь бы ты была довольна. — Все это время Хосе что-то делал за стойкой, что-то переставлял с места на место. Играл свою привычную роль. — Лишь бы ты была довольна, — повторил он. Вдруг резко остановился и повернулся к женщине: — Ты знаешь, я тебя очень люблю.

Женщина холодно посмотрела на него:

— Да ну! Какое открытие, Хосе. Думаешь, я пошла бы с тобой хоть за миллион песо?

— Да я не об этом, королева, — отмахнулся Хосе. — Ручаюсь, за обедом ты съела что-то не-свежее.

— Вся штука в том... — сказала женщина, и голос ее немного смягчился, — вся штука в том, что ни одна женщина не выдержит такого груза даже за миллион песо.

Хосе вспыхнул, повернулся к ней спиной и стал смахивать пыль с бутылок. Он продолжал говорить, не глядя в ее сторону:

— Ты сегодня злая, королева, тебе лучше всего съесть бифштекс и отоспаться.

— Я не хочу есть, — сказала женщина. Она снова смотрела на улицу, разглядывая в сумеречном свете города редких прохожих.

На несколько минут в ресторане установилась почти полная тишина. Лишь Хосе чем-то шуршал в шкафу. Внезапно женщина отвела глаза от улицы и заговорила совсем другим голосом — погасшим и мягким:

— Правда, ты меня любишь, Пепильо\*?

— Правда, — не глядя на нее, кратко ответил Хосе.

— После всего, что я тебе наговорила... — сказала женщина.

\* Пепильо — уменьшительное от Хосе.

— А что ты наговорила? — спросил Хосе все так же сдержанно и все так же не глядя на нее.

— А про миллион песо.

— Я уже забыл об этом, — сказал Хосе.

— Значит, ты меня любишь?

— Да, — сказал Хосе.

Потянулось молчание. Хосе по-прежнему что-то искал в шкафу, не оборачиваясь к женщине. Она выпустила изо рта дымок, легла грудью на стойку и настороженно, с сомнением покусывая губу, словно остерегаясь чего-то, спросила:

— Даже если я не стану спать с тобой?

Вот тут Хосе взглянул на нее:

— Мне этого не надо, потому что я тебя слишком люблю. — Он шагнул к ней. И остановился. Опираясь могучими руками о стойку и заглядывая женщине в самые глаза, сказал: — Я так люблю тебя, что мог бы убить каждого, с кем ты уходишь.

В первый момент она вроде бы растерялась. Потом посмотрела на него очень внимательно — во взгляде ее вместе с жалостью проступала насмешка. Потом задумалась в нерешительности. И вдруг разразилась смехом:

— Да ты ревнив, Хосе. Ну и ну, ты, оказывается, ревнив?!

Хосе снова покраснел, засмутился откровенно, даже беззастенчиво, как бывает у детей, когда разом открываются все их тайны.

— Ты сегодня какая-то бестолковая, королева, — сказал он, утирая пот тряпкой. И добавил: — Вот что с тобой сделала такая скотская жизнь.

Но теперь лицо женщины стало другим.

— Значит, нет, — сказала она. И посмотрела на него пристально, странно блестя глазами, вызывая и одновременно грустно. — Значит, не ревнив.

— Ну не скажи, — возразил Хосе. — Но не так, как ты думаешь.

Он расстегнул воротничок и долго тер тряпкой шею.

— Тогда объясни, — сказала женщина.

— Понимаешь, я тебя так люблю, что не могу больше видеть все это, — сказал Хосе.

— Что? — переспросила женщина.

— Да то, что каждый вечер ты уходишь с первым встречным.

— А правда, ты бы убил любого, только чтобы он не пошел со мной? — спросила женщина.

— Чтоб не пошел — нет, — сказал Хосе. — Я бы убил за то, что пошел.



— Не все ли равно? — сказала женщина.

Напряженный разговор будоражил обоих. Женщина говорила тихо, мягким и вкрадчивым голосом. Лицо ее почти вплотную приблизилось к багровому добродушному лицу толстяка. Он сидел не шелохнувшись, будто околдованный жаром ее слов.

— Все это правда, — сказал Хосе.

— Значит... — сказала женщина и, подавшись вперед, погладила его огромную шершавую руку. Отбросила погасший окурок. — Значит, ты способен убить человека?

— За то, о чем я тебе сказал, — да! — с горячностью ответил Хосе.

Женщина зашлась судорожным смехом, не скрывая издевки.

— Какой ужас, Хосе! Какой ужас! — говорила она сквозь смех. — Хосе убивает человека! Ну кто бы подумал, что такой солидный человек, такой праведник, что кормит меня задарма бифштексами и болтает со мной, пока я жду клиентов, — самый что ни на есть убийца. Какой ужас, Хосе, я боюсь тебя!

Хосе опешил. Может, он даже возмутился. Может, в тот момент, когда женщина расхохоталась, он почувствовал, что все для него рухнуло.

— Ты пьяна, дурочка, — сказал он. — Иди отоспись. Вот даже есть не хочешь...

Но женщина больше не смеялась, она сидела снова серьезная, задумчивая, сгорбившись над стойкой. И следила взглядом за Хосе. Вот он открыл холодильник и снова закрыл его, ничего оттуда не достав. Вот протер сверкающее, без пылинки, стекло. Женщина заговорила тем же мягким и ласковым голосом, каким спросила его раньше: «Правда, ты меня любишь, Пепильо?»

— Хосе, — сказала она.

Толстяк даже не обернулся.

— Хосе!

— Иди проспись! — сказал Хосе. — Да ополоснись, перед тем как лечь, чтоб хмель сошел!

— Нет, взаправду, Хосе, — сказала женщина, — я не пьяная.

— Значит, на тебя дурь нашла, — сказал Хосе.

— Подойди-ка, мне надо поговорить с тобой, — позвала женщина.

Мужчина подошел с надеждой и в то же время с недоверием.

— Пoblиже.

Он встал прямо перед ней. Она потянулась к нему и больно схватила за волосы, но сделала это с явной нежностью.

— Повтори, что ты мне сказал, — попросила она.

— Что? — сказал Хосе. Он глядел ей в глаза исподлобья, так как она пригнула ему голову.

— Что убил бы человека, который переспит со мной.

— Убил бы того, который переспит, королева. Клянусь, — сказал Хосе.

Женщина выпустила его волосы.

— Стало быть, ты вступишься за меня, если я убью кого-нибудь, — сказала она утвердительно, отталкивая с грубым кокетством огромную, как у кабана, голову.

Хосе ничего не ответил, лишь улыбнулся.

— Отвечай, Хосе, — сказала женщина. — Ты меня защитишь, если я убью кого-нибудь?

— Ну, это зависит... — сказал Хосе. — Говорить — одно, а делать — другое.

— Никому полиция так не верит, как тебе, — сказала женщина.

Хосе самодовольно улыбнулся, польщенный. Женщина снова перегнулась к нему через стойку.

— Нет, правда, Хосе. Я могу побиться об заклад, что ты ни разу в жизни не соврал, — сказала она.

— А какой толк от этого?

— И все равно, — настаивала женщина, — полиция это знает и верит каждому твоему слову.

Хосе постукивал по стеклу, стоя перед женщиной, и не знал, что сказать. Она снова уставилась на улицу. Потом глянула на часы, и голос ее сделался другим, торопливым, словно ей хотелось закончить разговор, пока они одни.

— Ты мог бы соврать ради меня, Хосе? — спросила она. — Я всерьез.

И тут Хосе испытующе посмотрел на нее, в упор, глаза в глаза, словно ему вдруг ударила в голову страшная мысль. Мысль, которую он с лету поймал, шевельнулась у него в мозгу, смутная, неясная, и исчезла, оставив лишь жаркий след страха.

— Во что ты впуталась, королева? — спросил Хосе. Он потянулся к ней, скрестив руки над стойкой. Женщина почувствовала крепкий, едкий, отдающий нашатырем запах в его дыхании, которое сделалось тяжелым, оттого что он навалился животом на стекло. — Нет, правда, королева... Что ты натворила? — сказал он.

Женщина оттолкнула от себя его голову.

— Ничего, — сказала она. — Что, уж нельзя поговорить просто так, со скуки? — Потом взгля-

нула на него: — Знаешь, может, тебе и не придется никого убивать.

— Да у меня и в мыслях никогда не было, чтоб убить человека, — сказал Хосе озадаченно.

— Да нет же, — сказала женщина, — я говорю, никого, кто переспит со мной.

— А-а! — протянул Хосе. — Вот теперь мне ясно. Я ведь всегда говорил, что ты зря пустилась в такую жизнь. И даю слово, бросишь все это — буду жарить для тебя каждый день самый лучший бифштекс, и бесплатно.

— Спасибо, Хосе, — сказала женщина. — Тут другое. Вся штука в том, что я больше *не смогу* ни с кем.

— Снова темнишь, — сказал Хосе. Он явно терял терпение.

— Ничего я не темню, — сказала женщина.

Она выпрямилась, села поудобнее, и Хосе увидел ее опавшую, жалкую грудь под корсетом.

— Завтра я уеду и, клянусь, больше никогда ничем тебя не побеспокою. И больше ни с кем не буду путаться, помани мое слово.

— И с чего это ты? — удивился Хосе.

— Вот решила, и точка. Я теперь только поняла, что все это — одно скотство.

Хосе снова схватился за тряпку и давай начищать стекло рядом, где она сидела. Заговорил, не глядя в ее сторону:

— Конечно, то, чем ты занимаешься, — настоящее скотство. Давно пора бы опомниться.

— Да я давно опомнилась, — сказала она. — Но вот до конца убедилась в этом только-только. Мне опротивели мужчины.

Хосе улыбнулся. Он поднял голову и, все так же улыбаясь, посмотрел на нее.

Но она уже сидела подавленная, задумчивая, втянув голову в плечи, и раскачивалась на табурете с каким-то помертвелым лицом, которое золотила преждевременная осенняя дымка увядания.

— По-моему, надо оставить в покое женщину, которая убила человека, потому что он ей опротивел, после того как она с ним переспала, и не только он, но все, с кем она была в постели.

— Ну, уж тыхватила через край, — сказал Хосе растроганно, и в голос его просочилась нежность.

— А если женщина говорит мужчине, что он ей противен, когда тот уже одевается, потому что у нее перед глазами все, что он над ней вытворял

весь вечер, и она чувствует, что ни мылом, ни щеткой не отодрать его запах...

— Это бывает, королева, — сказал Хосе, теперь уже с некоторым равнодушием, по-прежнему надраивая стекло. — Его вовсе незачем убивать. Просто пошли его куда подальше.

Но женщина все говорила, и быстрые бесцветные слова ее лились взволнованно, без удержу.

— Ну а если женщина говорит, что он ей противен, а он вдруг бросает одеваться и снова к ней, и давай ее целовать, и...

— Да ну! Какой порядочный мужчина сделает такое, — сказал Хосе.

— Ну а если сделает? — сказала женщина с ожесточением. — Ну представь, что сделает!

— Да ну, до этого не дойдет, — сказал Хосе. Он по-прежнему тер одно и то же место на стойке, но разговор явно его интересовал уже меньше.

Женщина стукнула по стеклу костяшками пальцев. Она снова стала уверенной и сказала с пафосом:

— Какой ты дикий, Хосе. Ничего не понимаешь. — Она с силой вцепилась в его рукав: — Нет, ты скажи, эта женщина должна была его убить?

— Да будет тебе, — примирительно, как бы успокаивая ее, сказал Хосе. — Раз ты говоришь — так оно и есть.

— Ведь она же защищалась? — Женщина трясла его за руку.

Наконец Хосе бросил на нее мягкий, потеплевший взгляд.

— Пожалуй, так, — сказал он.

И подмигнул ей понимающе, как бы подыгрывая, — мол, он соучастник какого-то злодеяствия. Но женщина оставалась серьезной. Лишь выпустила его рукав.

— А ты соврал бы, чтобы спасти женщину, которая сделала такое?

— Ну, это зависит...

— От кого же? — спросила она.

— От женщины, — сказал он.

— А ты представь, что это женщина, которую ты очень любишь. И не чтоб иметь ее, понимаешь, а так, как ты сам говорил, просто любишь.

— Ладно. Пусть будет так, как ты хочешь, королева, — вяло сказал Хосе, которому этот разговор уже порядком надоел.

Он отошел от нее. Посмотрел на часы и увидел, что почти половина седьмого. «Через несколько минут, — подумал он, — ресторан заполнят посетители», и еще яростнее принялся тереть стекло, поглядывая на улицу. Женщина неподвижно сидела на табурете.



Молча, сосредоточенно, с выражением бесконечной тоски, точно угасающая лампочка, она следила за Хосе. Вдруг, после тягостного молчания, она произнесла кротким, искательным голосом:

— Хосе!..

Он посмотрел на нее с глубокой и печальной нежностью, какая бывает во взгляде быка. Нет, ему не хотелось больше никаких разговоров. Он посмотрел просто так, лишь бы убедиться, что она здесь и ожидает, в общем-то зря, найти в нем защитника.

— Я вот говорю, что завтра уеду, а ты хоть бы что, — сказала женщина.

— Ну... — сказал Хосе. — Но ведь ты не сказала куда.

— А туда, где не нужно спать с мужчинами.

Хосе усмехнулся:

— Ты что, всерьез уезжаешь? — И лицо его вдруг переменилось, точно он наконец понял, что к чему в жизни.

— Это от тебя зависит, — сказала женщина. — Сумеешь соврать про то, когда я пришла, — завтра уеду и покончу с этим навсегда. Идет?

Хосе улыбнулся и согласно кивнул. Женщина наклонилась к нему:

— Если я когда-нибудь вернусь и увижу на этом месте в это же время другую женщину — умру от ревности.

— Если вернешься, привези мне что-нибудь, — сказал Хосе.

— Да, — сказала женщина. — Обещаю, что куплю тебе заводного медвежонка.

Хосе улыбнулся. Провел тряпкой в воздухе между ней и собой, словно протер незримое стекло. Женщина тоже улыбнулась. Теперь ласково и кокетливо. Хосе двинулся к другому краю стойки, на ходу протирая стекло.

— Ну что? — спросил он не оборачиваясь.

— Значит, ты всем, кто бы ни спросил, скажешь, что я пришла без четверти шесть, так?

— А зачем? — спросил Хосе ей в спину.

— Какое тебе дело? — сказала она. — Главное, что ты это сделаешь.

Дверь, скрипя, открылась. Вошел первый посетитель и занял столик в углу. Хосе поспешил к нему, бегло взглянув на часы. Ровно половина седьмого.

— Ладно, королева, будет, как ты хочешь, — сказал он рассеянно. — Я всегда делаю, как ты хочешь.

— Ну что ж, — сказала женщина, — тогда жарь мне бифштекс.

Хосе открыл холодильник, достал тарелку с мясом, положил его на стол и зажег плиту.

— Я приготовлю тебе отличный бифштекс на прощание.

— Спасибо, Пепильо.

Она задумалась, будто погрузилась в какой-то странный мир, населенный зыбкими, расплывчатыми, неведомыми образами. Она не услышала, как зашипело сырое мясо, брошенное на сковороду с кипящим маслом, не услышала, как оно потрескивало, когда Хосе его переворачивал. Не почувствовала сочного запаха жареного мяса, который медленно распространялся по всему ресторану. Она так и сидела, уйдя в свои мысли, задумавшись глубоко-глубоко, и наконец подняла голову, зажмурилась, будто вернулась к жизни с того света. Увидела, что Хосе стоит у плиты, освещенный весело разгоревшимся пламенем.

— Пепильо!

— Ну что?

— О чем задумался?

— Вот думаю, купишь ли ты мне взаправду заводного медвежонка.

— Конечно, но мне надо знать, сделаешь ли ты на прощание то, о чем я попрошу.

Хосе глянул на нее из-за плиты:

— Сколько повторять одно и то же?! Ты хочешь еще что-нибудь, кроме бифштекса?

— Да, — сказала женщина.

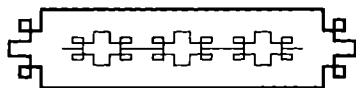
— Чего? — спросил Хосе.

— Хочу еще четверть часа.

Хосе откинулся назад, чтобы посмотреть на часы. Потом взглянул на посетителя, который молча сидел в углу, а затем на мясо, зарумянившееся на сковородке. И лишь тогда сказал:

— Нет, серьезно, я ничего не понимаю, королева.

— Не будь дурачком, Хосе, — сказала женщина. — Запомни, я здесь с половины шестого.



### ***Негритенок Набо, заставивший ангелов ждать***

**Н**або лежал ничком в сене. Острый запах конской мочи словно натирал тело наждачной шкуркой. Посеревшей лоснящейся кожей он ощущал жаркое дыхание склоняющихся к нему лошадей, но кожи своей не чувствовал. Как и самого тела. Удар подкованного копыта в лоб поверг его в терпкую тягучую дрему, и теперь сознание заполонила лишь эта дрема, больше не было ничего. В ней причудливо перемешались едкие испарения конюшни и тихий мир неисчислимых насекомых в сене. Набо попробовал расклеить веки, но вновь сомкнул их, окончательно успокоившись, вытянувшись и замерев. Так, не шелохнувшись, он пролежал до самого заката, пока кто-то над ним не промолвил:

---

© Перевод. С. Марков, 2011.

— Идем, Набо. Хватит спать.

Он поднял голову и не увидел в конюшне лошадей, хотя ворота были закрыты. Не слышалось их похрапывания, беспокойного топтания на месте, а окликнули его, должно быть, снаружи. Снова раздался голос:

— В самом деле, Набо. Ты давно спишь. Уже три дня спишь.

И тут, с усилием открыв глаза, Набо осознал: «Меня лягнула лошадь, поэтому я здесь лежу».

Он не мог понять, который час. Может, прошел день или два с тех пор, как он упал в сено. Разноцветные картинки воспоминаний расплылись, словно по ним провели влажной губкой, и заодно с ними расплылись те далекие субботние вечера, когда Набо ходил на площадь их маленького городка. Он не помнил уже, надевал ли тогда белую рубашку и черные брюки. Не помнил свою зеленую шляпу, настоящую шляпу из зеленой соломы, не помнил, был ли обут в башмаки. Набо ходил на площадь субботними вечерами, садился где-нибудь в укромном уголке, но не для того, чтобы послушать музыку, а чтобы увидеть того негра. Негра в очках с черепаховой оправой, тесемками привязанных к ушам, стоя за одним

из дальних пюпитров, играл на саксофоне. Набо неотрывно смотрел на него, но негр ни разу не обратил внимания на мальчика. По крайней мере, если бы кто-нибудь, прознав, что Набо приходит на площадь посмотреть на негра, спросил — не теперь, разумеется, потому что теперь он ничего не помнил, а прежде, — замечает ли его негр, Набо ответил бы, что нет. Но это было единственным его занятием, кроме ухода за лошадьми: смотреть на негра.

Однажды субботним вечером негра на привычном месте не оказалось. Увидев пустой одинокий пюпитр, Набо забеспокоился, однако его не убрали, возможно, ждали негра в будущую субботу. Но и в следующий раз он не пришел, и его пюпитра уже не было на сцене.

С трудом повернувшись на бок, Набо наконец увидел человека, который к нему обращался. В сумраке конюшни он не узнал его. Мужчина сидел на дощатом настиле и отбивал на коленях какой-то мотив.

— Меня лягнула лошадь, — произнес Набо, стараясь разглядеть человека.

— Лягнула, — согласился мужчина. — Но сейчас тут нет лошадей, а мы давно ждем тебя в хоре.

Набо встряхнул головой. Он все еще не в состоянии был думать, но уже сообразил, что раньше видел этого мужчину. Набо не понимал, о каком хоре он говорит, но приглашение его не удивило. Он любил петь и, ухаживая за лошадьми, чтобы те не скучали, напевал им придуманные им самим песни. Те же песни пел он и немой девочке. Ее не интересовал окружающий мир, она была погружена в свой собственный, ограниченный четырьмя тоскливыми стенами, и, слушая Набо, равнодушно смотрела в одну точку. И раньше Набо непросто было удивить приглашением в хор, а сейчас тем более, хотя он и не мог никак взять в толк, что это за хор. Гудела голова, мысли ускользали в разные стороны.

— Мне надо знать, где лошади, — сказал Набо.

Мужчина ответил:

— Их нет, ты же слышал. А твой голос нам очень нужен.

Набо внимательно выслушал слова мужчины, но из-за боли в голове от удара копыта мало что понял. Он уронил голову в сено и забылся.

Две или три недели Набо приходил на площадь, несмотря на то что негра уже не было в оркестре. Возможно, кто-нибудь ему бы и ответил, если бы он спросил, что случилось с музы-



кантом. Но он не спрашивал, а просто продолжал приходить на концерты до тех пор, пока другой музыкант с другим саксофоном не занял вакантное место в оркестре. Набо понял, что негр больше не появится, и перестал ходить на площадь.

Очнулся он, как ему показалось, очень быстро. Тот же запах конской мочи опалял ноздри, глаза застилала пелена, мешающая разглядеть окружающие предметы. Но мужчина по-прежнему сидел в углу, ритмично похлопывая по ляжкам, и его умиротворяющий голос твердил:

— Мы ждем тебя, Набо. Ты спишь уже два года и не собираешься просыпаться.

Набо снова ненадолго открыл глаза и напряженно вгляделся в маячившее в глубине конюшни лицо. Оно теперь казалось потерянным и печальным. И Набо наконец узнал его.

Если бы мы, его домашние, знали, что субботними вечерами Набо ходил слушать оркестр, а потом перестал, мы подумали бы, что от площади его отвлекла музыка, появившаяся в нашем доме. Именно тогда, чтобы развлекать девочку, в дом принесли граммофон. Его нужно было постоянно заводить, и Набо оказался для этого наиболее подходящим. Когда он не был занят ло-

шадьми, то легко управлялся с граммофоном. Девочка теперь дни напролет слушала грампластинки, неподвижно сидя в углу комнаты. Порой, захваченная музыкой, она сползала со стула, все так же уставившись в одну точку, не обращая внимания на стекающую изо рта слюну, и перемещалась в столовую. Иногда Набо поднимал иглу граммофона и принимался петь сам. Нанимаясь на работу в наш дом, он сообщил, что поет, и умеет это делать лучше всех. Нас не интересовали тогда его вокальные данные. Нам требовался мальчик для ухода за лошадьми. Но Набо мы оставили, и он пел, словно нанимался для этого, а ухаживал за лошадьми в свободное от песен время. Так прошло больше года, пока мы не смирились с мыслью, что девочка никогда не сможет ходить. Ни ходить, ни узнавать кого бы то ни было, и навсегда останется куклой без воли и желаний, равнодушно слушающей музыку и глядящей в одну точку на стене, пока ее не снимут со стула и не отнесут в другую комнату. Мы смирились с этим, и с течением времени боль из-за девочки в нас поутихла. Но Набо, казалось, не смирился, и изо дня в день в определенные часы в комнате звучал граммофон. Набо тогда еще ходил по вечерам на площадь. И однажды,

когда его не было, кто-то в комнате вдруг отчетливо произнес:

— Набо.

Мы находились в коридоре и поначалу не обратили на голос внимания. Снова отчетливо прозвучало:

— Набо! — и мы изумленно переглянулись.

— Как, разве девочка не одна в комнате?

Кто-то сказал:

— Я уверен, к ней никто не входил.

Другой добавил:

— Да, но кто-то же позвал Набо!

Мы вошли в комнату и увидели девочку на полу у стены.

Набо вернулся рано и лег спать. В следующую субботу он не пошел на площадь, потому что негра тогда уже заменили. А еще три недели спустя, в понедельник, граммофон вдруг заиграл в непривычное время, когда Набо был в конюшне. Никто не придал этому значения, и спохватились лишь, когда негритенок, привычно напевая, появился в доме — он мыл лошадей, с его фартука стекали струи воды, и мы воскликнули:

— Ты откуда?

Он ответил:

— Через дверь вошел. Я был на конюшне с полудня.

— Но ведь граммофон-то играет! Ты слышишь?

— Слышу.

— И кто-то завел его.

Набо пожал плечами:

— Девочка. Она уже давно сама его заводит.

Все так и шло, пока мы не нашли его в запертой конюшне лежащим ничком в сене с отпечатком подковы на лбу. Взяв за плечи, мы встряхнули его, чтобы очнулся, и Набо сказал:

— Меня лягнула лошадь, поэтому я здесь.

Но мы пропустили его слова мимо ушей, напуганные мертвенно-холодным взглядом и зеленоватой пеной у рта. Всю ночь он плакал, охваченный жаром, и в бреду твердил о каком-то гребне, потерявшемся в сене. Утром открыл глаза, попросил пить, мы принесли воды, он с жадностью выпил кружку и попросил еще. Мы осведомились, как он себя чувствует, и он сказал:

— Чувствую так, будто меня лягнула лошадь.

Бред продолжался весь день и ночь. Неожиданно Набо поднялся на постели и, указывая пальцем в потолок, заявил, что там скачут лошади и не дают ему спать. Температура постепенно спала, речь стала более-менее связной, и он го-

ворил, говорил, пока в рот ему не сунули платок. Но и через платок он пел и что-то шептал лошади, дышавшей, как ему казалось, в ухо, будто принюхивающейся. Когда платок вытащили, чтобы дать поесть, Набо отвернулся к стене и заснул. А проснулся уже не в постели, а посреди комнаты, привязанным к столбу. И, привязанный, он вновь запел.

Когда Набо узнал мужчину, который обращался к нему, то сказал:

— Я видел вас раньше.

Мужчина отозвался:

— На площади меня видели каждый субботний вечер.

— Да, правильно, на площади. Но там мне казалось, что вы меня не замечаете.

— А я и не замечал тебя, но потом, перестав выходить на площадь, почувствовал, что по субботам мне не хватает чьего-то взгляда.

И Набо сказал:

— Однажды вы не вернулись, а я еще приходил на площадь три или четыре раза.

Мужчина, все так же похлопывая себя по ляжкам и, видимо, не думая уходить, произнес:

— К сожалению, я уже не мог там появляться, хотя, пожалуй, это единственное, что стоило бы делать.

Набо попытался подняться и потряс головой, чтобы не упустить смысла сказанного, но снова уснул. С ним часто это случалось с тех пор, как его лягнула лошадь. Но где-то совсем близко звучал тихий настойчивый голос: «Набо, мы ждем тебя. Сколько же можно спать, ты так все проспишь».

Четыре недели спустя, после того как негр не появился в оркестре, Набо решил расчесать хвост одной из лошадей. Прежде он ни разу не расчесывал им хвосты, лишь скреб бока, напевая. Но в среду, сходяв на рынок и увидев там отменный гребень, понял: «Он именно для того, чтобы расчесывать лошадям хвосты». Вот тогда и лягнула его лошадь, сделав дурачком на всю оставшуюся жизнь, десять или пятнадцать лет назад. Кто-то в доме сказал:

— Конечно, лучше было бы ему умереть, чем потерять рассудок и не иметь ничего в будущем.

Мы заперли его в комнате и туда больше никто не входил. Мы были уверены, что он там и девочка ни разу не заводила граммофон. И вообще интерес ко всему этому пропал. Убедившись в том, что удар копыта лишил его разума и подкова навеки очертила круг, за который не сможет выбраться его несчастный сдвинувший-

ся рассудок, мы заперли его, как запирают лошадь. Заточили в четырех стенах, не решившись его просто убить каким-либо способом, молчаливо пришли к согласию, что он и так скончается, не выдержав одиночества. Четырнадцать лет прошло с тех пор, и однажды подростки дети выказали желание посмотреть на него. И открыли дверь.

Набо вновь посмотрел на мужчину.

— Меня лягнула лошадь, — сказал он.

Мужчина произнес:

— Ты сто лет твердишь одно и то же, а между тем мы ждем тебя в хоре.

Набо тряхнул головой и погрузил лоб в сено, мучительно силясь что-либо вспомнить.

— Я расчесывал лошади хвост, когда это произошло.

Мужчина не возразил, но сказал:

— Все дело в том, что нам бы действительно очень хотелось видеть тебя в хоре.

— Значит, выходит, напрасно я купил тогда гребень.

— Ты все равно не убежал бы от судьбы. Мы решили, что ты увидишь гребень и пожелаешь расчесать лошадям хвосты.

— Но я же никогда не вставал позади лошади.

И мужчина, по-прежнему тихо, успокаивающе промолвил:

— А на сей раз встал, и лошадь тебя лягнула. Другой возможности у нас не было.

Этот бессмысленный беспощадный разговор продолжался, пока кто-то в доме не заметил:

— Пятнадцать лет эту дверь не открывали.

За все эти долгие годы девочка не выросла. Ей уже было за тридцать, и, открыв дверь, мы увидели, что она сидит все в той же позе, глядя в стену, и паутина печальных морщинок покрыла ее веки. Она повернулась к нам, будто приносиваясь к чему-то, и мы поспешили снова запереть комнату, решив: «Не стоит тревожить Набо. Он даже не шевелится. О его смерти мы узнаем по запаху». И кто-то добавил:

— Или по еде. Он всегда съедает, что дают.

И все шло по-прежнему, только девочка смотрела теперь не на стену, а на дверь, приносиваясь к едким запахам, проникающим через замочную скважину. Однажды на рассвете вдруг раздался давно забытый сипловатый металлический скрежет, какой издает граммофон, когда его заводят. Мы поднялись, зажгли лампу и услышали грустную мелодию, много лет назад вышедшую из моды. Граммофон звучал все резче и громче,



пока не раздался сухой треск. Но музыка все играла, когда мы вошли в комнату и увидели девочку, держащую в руке заводную ручку, отломанную от корпуса. Все замерли. И девочка не шевелилась, равнодушно уставившись в одну точку, с прижатой к виску ручкой. Мы молча разошлись по своим комнатам, пытаясь вспомнить, умела ли девочка самостоятельно заводить граммофон. Маловероятно, что кто-то из нас смог уснуть в ту ночь. Мы размышляли над тем, что произошло, вслушиваясь в незамысловатый мотив с пластинки, продолжавший звучать.

Отворяя дверь, мы уже уловили смутный дух распада, запах тлена. Тот из нас, кто дверь открыл, крикнул:

— Набо! Набо!

Но никто не отозвался. У двери стояла пустая тарелка. Три раза в день мы подсовывали под дверь тарелку с едой, и возвращалась она пустой. И теперь тарелка свидетельствовала о том, что Набо еще жив. Но только тарелка, больше ничего.

Он уже не двигался и не пел. Когда дверь закрыли, он сказал мужчине:

— Нет, я не смогу пойти в хор.

И мужчина спросил:

— Почему?

— Потому что у меня нет башмаков.

А мужчина, подняв ноги, произнес:

— Это не имеет значения. У нас никто не носит башмаков.

И Набо увидел его желтые заскорузлые ступни. Мужчина сказал:

— Я целую вечность тебя жду.

Набо возразил:

— Нет, лошадь совсем недавно меня лягнула. Я сейчас плесну на голову воды и пойду загонять лошадей в стойло.

— Лошади в тебе больше не нуждаются. Их нет давно. А тебе надо идти с нами.

А Набо произнес:

— Лошади должны быть здесь.

Погрузив руки в сено, он сделал попытку подняться и услышал, как мужчина ему сказал:

— За ними некому ухаживать уже пятнадцать лет.

А Набо все разгребал землю, повторяя:

— Где-то здесь должен быть мой гребень.

— Пятнадцать лет назад закрыли конюшню.

Она превратилась в руины.

Набо возразил:

— Не могли за один вечер образоваться руины. Я не уйду отсюда, пока не найду гребень.

На следующий день после того, как мы снова заперли дверь, изнутри послышался стук. Никто

не двинулся с места. Никто не проронил ни слова и когда раздался треск, и дверь от страшной силы ударов стала подаваться. Сиплое частое дыхание загнанного животного доносилось изнутри. Ржавые петли заскрипели и рассыпались в прах. Стоя в дверном проеме, Набо упрямо мотал головой из стороны в сторону.

— До тех пор, пока не найду гребень, — проговорил он, — я не пойду в хор.

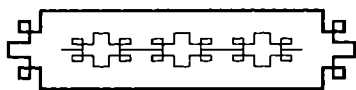
Он принялся разгребать под собой сено и землю, и тогда мужчина сказал:

— Ну ладно. Если тебе не хватает лишь гребня, ступай, ищи его. — Он склонил голову, еле сдерживая негодование, и, положив локти на хлипкую перегородку, добавил: — Ступай, Набо. Я сделаю так, чтобы никто не смог тебе помешать.

Дверь подалась, чудовищный негр с незажившей раной на лбу (хотя минуло пятнадцать лет) сокрушительным ударом плеча высадил ее, вырвался из заточения и помчался, сметая мебель и все на пути и потрясая огромными кулаками, с веревкой в руке, сохранившейся с тех пор, как мальчиком ухаживал за лошадьми. С воплем он пронесся по коридору мимо девочки, которая с вечера сидела с ручкой от граммофона (она увидела черную, сорвавшуюся с цепи мощь и что-то

вспомнила, может, какое-то слово), а негр выскочил во двор, задев плечом зеркало, но не заметив ни зеркала, ни девочки, и увидел ослепившее его солнце. В доме еще слышался звон разбитых им стекол, а он помчался, словно обезумевшая лошадь, ища несуществующие ворота конюшни, за пятнадцать лет стершейся из памяти, но оставшейся в подсознании с того дня, когда он расчесывал хвост лошади и удар копыта сделал его безумным. Он выбежал на задний двор, оставляя за собой руины, хаос, точно бык, ослепленный прожекторами, и стал разгребать землю с неудержимой свирепостью, будто желая добраться до вожделенного запаха кобылы, а затем достичь ворот конюшни. Теперь он был сильнее своей страшной темной силы, мечтал вышибить их и рухнуть туда лицом вниз, может, в последнем порыве, но все еще во власти той звериной ярости, что мгновение назад застила глаза и не давала видеть мир и девочку. Девочку, заметившую его, промчавшегося мимо, неподвижно сидящую на стуле в комнате, с поднятой ручкой от граммофона, вспомнившую единственное слово, которое она научилась в своей жизни произносить, и теперь кричавшую:

— Набо! Набо!



### *Кто ворошит эти розы*

**Б**ыло воскресенье, дождь закончился, и я решил отнести букет роз на свою могилу. Роз красных и белых, которые она выращивает для украшения алтаря и венков. Утро было невеселым, исподволь подкралась зима, напомнив мне о городском холме мертвых. Голое, без деревьев пространство, где останки покойников чуть присыпаны землей и обнажаются от сильного ветра. Сейчас, когда дождь приутих и полдненное солнце подсушило склон, я мог бы добраться до могилы, в которой похоронено мое детское тельце, давно, должно быть, разложившееся и рассыпавшееся между камней и улиток.

Она стоит, зачарованная, пред своими святыми. Погруженная в размышления, ибо я притих после неудачной попытки пробраться к алтарю

---

© Перевод. С. Марков, 2011.

и стащить самые свежие яркие розы. Мне повезло бы сегодня, но мигнула лампадка, и она, очнувшись, подняла голову и взглянула в угол, на стул. Возможно, она подумала: «Опять ветер», потому как перед алтарем действительно что-то скрипнуло, и на мгновение пахнуло ветерком, едва заметно, словно шевельнулись обитающие в доме с незапамятных времен воспоминания. Я понял, что следует дождаться удобного случая, чтобы взять розы, потому что она все еще встревоженно посматривает на стул и заметит движение моих рук. Подождать, когда она уйдет в соседнюю комнату на обязательную и определенную по времени воскресную сиесту. Тогда я сумею ускользнуть с розами и пробраться в комнату прежде, чем она сюда вернется и стул вновь окажется в поле ее зрения.

В прошлое воскресенье было еще труднее. Я вынужден был ждать два часа, пока она не погрузилась в молитву. Что-то ее беспокоило, она словно чувствовала, что не одна. Прежде чем положить розы на алтарь, она несколько раз обошла комнату. Потом двинулась в коридор, ведущий в глубь дома, и заглянула в соседнюю комнату. Я понял: она ищет лампу. Когда она шла по коридору обратно, я увидел ее в дверном про-

еме. Она была в темном жакете и розовых чулках и в какой-то момент вдруг показалась мне той девочкой, которая сорок лет назад в этой же комнате сказала, склонившись над моей кроватью:

— Эти пятаки в глазницах похожи на круглые жестокие глаза.

И почудилось, что не прошло тех лет, которые отделяли нас от незабываемого вечера, когда женщины привели ее в комнату и, показав мой труп, велели:

— Плачь. Он был тебе как брат.

И она, отвернувшись к стене, заплакала, а платье ее было все еще мокрым от дождя.

Вот уже три или четыре недели я подкрадываюсь к розам, но внимание ее ни на мгновение не ослабевает. Она оберегает цветы с такой бдительностью, какой не было ни разу за все двадцать лет, что она живет в доме. В прошлое воскресенье, когда она ушла искать лампу, я успел набрать букет лучших роз. И, ликуя, уже намеревался нести их к своему стулу, но в коридоре послышались шаги, и я бросил розы на алтарь. Она появилась в дверях с высоко поднятой лампой.

На ней был темный жакет и розовые чулки, в лице мерцало что-то вроде отблеска прозре-

ния. Она вовсе не походила на женщину, двадцать лет беспрестанно выращивающую в своем саду розы, она была девочкой, которую далеким августовским вечером увели, чтобы сменить мокрое платье, и которая сорок лет спустя вернулась с лампой в руке, расплывшаяся и состарившаяся.

Твердая корка грязи, налипшей в тот давний вечер, все еще покрывала мои ботинки, хотя они двадцать лет сушились возле потухшего очага. Однажды я попытался отыскать их. После того как закрыли двери, с крыльца сняли хлеб и пучок алоэ и увезли мебель. Всю мебель, кроме того стула в углу, который и служит мне верно все эти годы. Ботинки поставили сушиться, но, оставляя дом, забыли о них. Поэтому я искал их.

Она вернулась через много лет. Минуло столько времени, что запах мускуса в комнатах перемешался с запахом пыли, зловонием рассыпавшихся останков насекомых. Все эти годы я ждал в углу комнаты. Я стал способен слышать шелест ветшающей древесины и улавливать малейшее веяние застоявшегося в закрытых спальнях воздуха. Дом почти уже развалился, когда она приехала. С чемоданом в руке, в зеленой шляпке и жакете из хлопка, который не меняла с тех пор,



как остановилась в дверях. Она была совсем девочкой, еще не начала полнеть, щиколотки ее, стянутые чулками, еще не опухли, как теперь. Когда она открыла дверь, в комнате замолчал сверчок, стрекотавший все двадцать прошедших лет, а я был покрыт пылью и паутиной. Но, несмотря на пыль и паутину, на умолкшего сверчка и изменившийся облик застывшей в дверях, я сразу узнал в ней ту девочку, с которой далеким августовским вечером мы ходили собирать птичьи гнезда под крышей конюшни. Она стояла в дверях, с чемоданом, в зеленой шляпке, и вид у нее был такой, словно вот-вот закричит, как кричала в тот день, когда меня нашли лежащим навзничь на разбросанном сене, сжимающим в руках перекладину сломавшейся лестницы. Когда она открыла дверь, заскрипели петли и хлопья пыли посыпались с потолка, будто кто-то постучал по крыше молотком. Она остановилась в нерешительности, окаймленная, точно нимбом, светящимся дверным проемом, и окликнула так, точно будила спящего:

— Мальчик! Мальчик!

Вытянув ноги и окаменев, я затаился на стуле. Мне казалось, что она явилась лишь для того, чтобы еще раз увидеть комнату, но она здесь по-

селилась. Осмотрев дом, открыла чемодан, и давний запах мускуса наполнил комнаты. Другие, покидая дом, взяли с собой мебель и тюки с одеждой, а она забрала из комнат лишь запахи, дабы через двадцать лет возвратить их на прежние места. Восстановила алтарь, и просто ее присутствия казалось довольно, чтобы возродить все разрушенное необратимым и неумолимым временем. С той поры она живет в доме, спит и ест в соседней комнате, а днем разговаривает со святыми. По вечерам сидит в кресле-качалке у двери и штопает одежду в ожидании покупателей роз. Она беспрерывно раскачивается, штопая. И когда кто-нибудь покупает букет роз, она прячет денежку в уголок платка, повязанного на талии, и говорит всегда одно и то же:

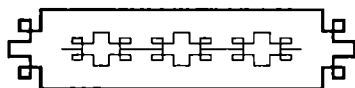
— Берите цветы справа, слева — для святых.

Вот уже двадцать лет она проводит день за днем в кресле-качалке, штопает одежду и поглядывает на стул. Она посвятила жизнь мальчику, когда-то проводившему с ней вечера, будто своему внуку-инвалиду, живущему рядом с ней, сидящему на стуле с той поры, когда его бабушке было всего пять лет.

Может, сейчас, когда она склонила голову, я успею пробраться к розам. И если мне удастся,

то я отправлюсь на холм, положу букет на могилу и вернусь на стул, чтобы дожидаться на нем того дня, когда она не войдет в комнату и все звуки в доме смолкнут.

В тот день все будет иначе, поскольку я должен буду выйти и сообщить людям о том, что женщине, которая жила в разрушенном доме и продавала цветы, требуются четверо мужчин, чтобы отнести ее на холм. После этого я останусь в доме навсегда. А она будет рада. Ведь в этот день она наконец поймет, что не ветер прилетал каждое воскресенье к алтарю и ворошил ее розы.



### *Ночь, когда хозяйничали выпы*

**М**ы втроем сидели за стойкой, когда кто-то опустил монету в щель автомата и началась нескончаемая, на всю ночь, пластинка. У нас не было времени подумать о чем бы то ни было. Это произошло быстрее, чем мы вспомнили бы, где же мы встретились, и быстрее, чем обрели бы способность ориентироваться в пространстве. Один из нас вытянул руку вперед, провел по стойке (мы не видели руку, мы слышали ее), наткнулся на стакан и замер, положив обе руки на твердую поверхность. Тогда мы стали искать друг друга в темноте и нашли — соединили все тридцать пальцев на поверхности стойки. Один сказал:

— Пошли.

И мы поднялись, будто ничего не случилось. У нас все еще не было времени встревожиться.

---

© Перевод. А. Борисова, 2011.

Когда мы проходили по коридору, то слышали музыку где-то близко, прямо перед нами. Пахло печальными женщинами, они сидели и ждали. Пахло длинным пустым коридором — он тянулся перед нами, пока мы шли к дверям, чтобы выйти на улицу, но тут мы почувствовали терпкий запах женщины, что сидела у дверей. И мы сказали:

— Мы уходим.

Женщина ничего не ответила. Мы услышали скрип кресла-качалки — кресло качнулось назад, когда женщина встала. Услышали звук шагов по расшатанным половицам; потом звук ее шагов повторился — когда она возвращалась на прежнее место, после того как дверь, скрипнув, закрылась за нашими спинами.

Мы обернулись. Там, за нами, воздух загустел — приближался рассвет-невидимка, и чей-то голос сказал:

— Отойдите-ка, дайте мне пройти.

Мы попятнулись. А голос снова сказал:

— Они все еще торчат у дверей!

И только когда мы пошли сразу в разные стороны, и когда голос стал слышаться везде, мы сказали:

— Нам не выйти отсюда. Выпи выклевали нам глаза.

Потом мы услышали: открылось несколько дверей. Один из нас разжал руки, отошел, и мы услышали: он пробирается в темноте, покачиваясь, натываясь на какие-то предметы, окружавшие нас. И он сказал откуда-то из темноты:

— Должно быть, мы почти пришли. Здесь пахнет сундуками, набитыми барахлом.

Мы почувствовали: он снова взял нас за руки; мы прижались к стене, и тогда другой голос прошел мимо нас, но уже в другом направлении.

— Это, наверное, гробы, — сказал один из нас.

Тот, что был в самом углу и чье дыхание теперь доносилось до нас, сказал:

— Это сундуки. Я с детства знаю запах сундуков, набитых одеждой.

Тогда мы двинулись туда. Пол был мягкий и гладкий, как утоптанная земля. Кто-то вытянул руку. Мы почувствовали прикосновение к чему-то продолговатому и живому, но противоположной стены уже не было.

— Это какая-то женщина, — сказали мы.

Тот, который говорил про сундуки, сказал:

— Мне кажется, она спит.

Тело женщины изогнулось под нашими руками, вздрогнуло, мы почувствовали, как оно ус-

кользает, но не потому, что увертывается от наших прикосновений, а потому, что как бы перестает существовать. Однако спустя мгновение, когда мы напряженно и неподвижно стояли плечом к плечу, мы услышали голос женщины.

— Кто здесь ходит? — сказала она.

— Это мы, — ответили мы, не шелохнувшись.

Послышалось какое-то движение на постели, потом скрип и шарканье ног, пытающихся нащупать в темноте шлепанцы. Тут мы представили себе, что женщина села и смотрит на нас, еще не окончательно проснувшись.

— Что вы здесь делаете? — сказала она.

И мы сказали:

— Не знаем. Выпи выклевали нам глаза.

Тогда она сказала:

— Я что-то слышала об этом. В газетах писали: трое мужчин пили пиво в каком-то патио, где было пять-шесть выпей. Семь выпей. И один из мужчин стал подражать голосу выпей. Плохо то, что час был уже поздний, — сказала она. — И вот эти твари прыгнули на стол и выклевали им глаза.

Она сказала, что так было написано в газетах, но никто в это не поверил.

Мы сказали:

— Если в патио еще были люди, они должны были видеть выпей.

И женщина сказала:

— Были. На другой день в патио набилось полно народу, но хозяйка уже отнесла выпей в другое место.

Когда мы повернулись в другую сторону, женщина замолчала. Там снова была стена. Стоило нам повернуться, и мы наталкивались на стену. Вокруг нас, приближаясь к нам, повсюду и всегда была стена. Кто-то из нас снова разжал руки. Мы слышали: он снова что-то ощупывает, шарит по полу и говорит:

— Не пойму, куда девались сундуки. По-моему, мы оказались где-то в другом месте.

И мы сказали:

— Иди сюда. Тут кто-то есть, рядом с нами.

Мы слышали: он приближается. Почувствовали, он подошел к нам, и снова ощутили его теплое дыхание на своих лицах.

— Вытяни руку вон туда, — сказали мы ему. — Там кто-то, кто знает нас.

Должно быть, он вытянул руку; должно быть, подошел, куда мы ему указывали, потому что через минуту вернулся и сказал:

— Мне кажется, там какой-то мальчик.



И мы сказали:

— Хорошо, спроси его, знает ли он нас.

Он спросил. И мы услышали в ответ равнодушный, бесцветный голос мальчика:

— Да, я вас знаю. Вы — те трое, которым выпы выклевали глаза.

Тогда послышался голос взрослого человека. Женский голос, который, казалось, шел из-за закрытой двери:

— Ты снова разговариваешь сам с собой.

Детский голос беззаботно ответил:

— Нет. Тут снова люди, которым выпы выклевали глаза.

Скрипнула дверь, и затем вновь послышался женский голос — уже ближе, чем в первый раз.

— Отведи их домой, — сказал голос.

И мальчик сказал:

— Но я не знаю, где они живут.

И женский голос сказал:

— Не выдумывай. С той ночи, как выпы выклевали им глаза, все знают, где они живут.

И потом она заговорила другим тоном, как если бы обращалась к нам:

— Все дело в том, что никто не хочет в это поверить; говорят, это очередная «утка» — чтобы раскупали газету. Никто не видел выпей.

И каждый из нас сказал:

— Но даже если я выйду на улицу с остальными слепцами, никто не поверит мне.

Мы стояли не шевелясь, не двигались, приклонившись к стене, слушая женщину. Она сказала:

— Но если с вами вместе выйдет мальчик — это другое дело. Разве не поверят словам ребенка?!

Детский голос перебил:

— Если я выйду на улицу вместе с ними и скажу: вот те самые люди, которым выпы выклевали глаза, — мальчишки забросают меня камнями. В городе говорят, что такого не бывает.

Наступила тишина. Затем дверь закрылась, и мальчик снова заговорил:

— И потом, я сейчас занят — читаю «Терри и пираты».

Кто-то сказал нам на ухо:

— Я уговорю его.

И пошел туда, откуда слышался голос ребенка.

— Прекрасно, — сказал этот кто-то. — Так расскажи нам хотя бы, что произошло с Терри на этой неделе.

Нам показалось, что он пытается завоевать доверие мальчика. Но тот ответил:

— Мне это неинтересно. Мне нравится только рассматривать картинки.

— Терри оставили в лабиринте, — сказали мы.

И мальчик сказал:

— Это было в пятницу. А сегодня воскресенье, и мне интересно только рассматривать картинки. — Он сказал это бесстрастно, равнодушно, отчужденно.

Когда тот, другой, вернулся, мы сказали:

— Вот уже три дня, как мы потерялись, и с тех пор мы так и не отдыхали.

И тот сказал:

— Хорошо. Давайте немного отдохнем, только не будем разнимать рук.

Мы сели. Нежаркое невидимое солнце стало пригревать нам плечи. Но даже солнце оставило нас равнодушными. Мы где-то сидели, потеряв представление о расстоянии, времени, направлении. Мимо нас прошло несколько голосов.

— Выпи выклевали нам глаза, — сказали мы.

И чей-то голос сказал:

— Эти люди приняли всерьез то, что было написано в газетах.

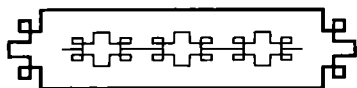
Голоса исчезли. Мы продолжали сидеть плечо к плечу, надеясь узнать по голосам и запахам

идущих мимо нас знакомых. Солнце уже напекло нам головы. И тогда кто-то сказал:

— Пойдемте снова к стене.

И остальные, продолжая сидеть, подняв головы к невидимому сиянию, ответили:

— Нет, еще рано. Подождем, когда солнце станет бить нам прямо в лицо.



### *Исабель смотрит на дождь в Макондо*

**Д**ождь пошел в воскресенье, после мессы. Субботняя ночь была душной. Но еще и воскресным утром не думали, что он начнется. После мессы, прежде чем мы, женщины, успели нащупать застёжки зонтиков, подул сильный ветер, который одним взмахом смел всю пыль и жесткие майские волокна пальм. Кто-то рядом сказал:

— Такой ветер принесет воду.

Я и раньше это поняла. Еще когда мы вышли на папёрть и я содрогнулась от ощущения чего-то вязкого в животе. Спасаясь от ветра и облака пыли, мужчины побежали к своим домам, придерживая сомбреро и платки на шее. И полило. А небо, превратившись в вязкое серое месиво, захлопало крыльями над нашими головами.

---

© Перевод. Ю. Грейдинг, 2011.

Остаток утра мы с мачехой просидели в галерее, радуясь тому, как дождь оживляет розмарин и туберозы, изнывавшие в горшках от жажды целых семь месяцев летнего зноя и обжигающей пыли. В полдень земля перестала стучать под дождем, и запах взрыхленной земли, проснувшейся и воспрянувшей травы смешался со свежим ароматом дождя и розмарина. А за обедом отец сказал:

— Дождь в мае — значит, воды хватит.

Улыбающаяся мачеха, пронизанная лучами нового времени года, ответила:

— Это ты на проповеди услышал.

И отец заулыбался. Пообедал с аппетитом и даже полежал у балюстрады, молча, с закрытыми глазами, но не засыпая. Похоже, он видел сны наяву.

Дождь шел весь день монотонно, не переставая. Он шумел спокойно, единообразно. Как поезд, когда едешь в нем целый день. Мы-то не замечали, а дождь слишком глубоко проникал в наши души. В понедельник на рассвете, когда мы прикрыли дверь, спасаясь от порывов ледящего ветра со двора, наши чувства переполнились дождем. А утром они уже вышли из берегов. Мы с мачехой снова вышли посмотреть на сад. Жест-

кая, бурая земля мая за ночь превратилась в темное, желеобразное месиво, похожее на хозяйственное мыло. Ручьи воды побежали между цветочными горшками.

— Наверное, они за ночь уже перебрали воды, — проговорила мачеха.

И я заметила, что она перестала улыбаться, а вчерашняя радость преобразилась в вялую и безразличную серьезность.

— Наверное, да, — произнесла я. — Пусть индейцы лучше в коридор их поставят, пока не распогодится.

Так они и сделали, а дождь все усиливался, рос, как огромное дерево над другими деревьями. Отец сел на то же место, что в воскресенье, но о дожде не упоминал. Он сказал:

— Должно быть, я плохо спал в эту ночь, потому что проснулся с болью в пояснице.

Так и сидел у балюстрады, закинув ноги на стул и повернув голову к опустевшему саду. Только под вечер, отказавшись от обеда, вздохнул:

— Будто никогда и не перестанет, этот дождь.

А я вспомнила о месяцах жары. Припомнила август, эти долгие оцепенелые сиесты, когда мы погибали под грузом расплавившегося времени,

с одеждой, прилипшей к телу от пота, слыша глухое жужжание остановившегося времени. Видела омытые дождем стены, набухшие стыки между досками, впервые опустевший садик и прижатые к стене заросли жасмина, помнящие мою маму. Видела отца с теряющимся в лабиринте дождя печальным взглядом, сидящего в качалке, подперев подушкой больной позвоночник. Вспомнила об августовских ночах, в тишине которых слышится лишь тысячелетний скрип Земли на заржавелой и намазанной оси. Внезапно меня поразила мертвящая тоска.

Дождь шел весь понедельник, как и в воскресенье. Но тогда казалось, будто льет как-то иначе, потому что нечто другое, горькое, происходило в моем сердце. К вечеру у моего кресла раздался голос:

— Надоедливый, этот дождь.

Не оборачиваясь, я узнала голос Мартина. Ясно, что он говорил с соседнего кресла, с тем же холодным, вялым выражением лица, которое не изменилось даже после того темного декабрьского утра, когда он стал моим мужем. С тех пор прошло пять месяцев. Теперь я ждала ребенка. А Мартин находился здесь, рядом со мной, и говорил, что ему надоел дождь.



— Он не такой уж надоедливый, — возразила я. — Только грустно смотреть на пустой сад и бедные деревья, которые не могут уйти со двора.

Я обернулась к нему, но Мартина уже не было. Только голос говорил мне: «Кажется, и не думает просветлеть», но когда я оглянулась, то увидела лишь пустое кресло.

Во вторник на рассвете в саду появилась корова. В своей терпеливой и упрямой неподвижности, со склоненной головой и копытами, тонувшими в грязи, она казалась глиняным холмом. Все утро индейцы палками и кирпичами пытались прогнать ее. Но корова невозмутимо стояла в саду, терпеливо, несокрушимо, копыта по-прежнему были уперты в грязь, а огромная голова опущена. Индейцы мучили ее, пока уступчивая терпеливость моего отца не пришла ей на помощь:

— Оставьте ее в покое! — воскликнул он. — Как пришла, так и уйдет.

Вечером вторника вода саваном легла на сердце, она давила и причиняла боль. Свежесть первого утра стала превращаться в теплую, вязкую сырость. Не было ни холодно, ни жарко, это была температура озноба. Ноги в туфлях потели.

Неизвестно, что было неприятнее: открытая кожа или прикосновение к ней одежды.

Жизнь в доме замерла. Мы сидели в галерее, но уже не любовались дождем, как в первый день. Не ощущали падения воды. Видели только очертания деревьев в тумане в этот печальный, опустошенный вечер, оставлявший на губах такой же вкус, с каким просыпаешься, когда привидится во сне незнакомец. Я знала, что это вторник, и помнила о сестрах-близнецах из приюта Сан-Херонимо, слепых девочках, которые раз в неделю приходят к нам петь простые песенки, превращенные в самую печаль горьким и беззащитным чудом их голосов. За дождем мне слышалась песенка слепых близняшек, и я представляла их в приюте, сидящих на корточках, ждущих, когда закончится дождь, чтобы выйти петь. В тот день и близняшки из Сан-Херонимо не придут, думала я, и нищенка не появится после сиесты на галерее, как всегда появляется по вторникам, чтобы попросить веточку мяты.

В этот день мы уже не соблюдали распорядок в столовой. В час сиесты мачеха подала простой суп и кусок лежалого хлеба. Но вообще-то мы не ели с вечера понедельника и тогда же перестали думать. Нас парализовал, одурманил дождь.

отдал нас присмирившими и покорными на милость обрушившейся природе. Только корова вздрогнула во второй половине дня. Вдруг глубокий гул встряхнул ее внутренности, а копыта еще глубже увязли в грязи. Постояла еще полчаса, будто уже умерла, но не могла упасть, потому что мешала привычка жить, навык недвижно стоять под дождем, пока привычка не оказалась слабее тела. Тогда она подогнула передние ноги (блестящий темный круп еще вздымался последним усилием агонии), опустила слюнявую морду в грязную жижу и, наконец, под собственной тяжестью отдалась тихой, постепенной и достойной церемонии падения.

— Вот и дошла, — произнес кто-то за моей спиной.

Я обернулась на голос и увидела в дверях нищенку, которая в непогоду пришла просить веточку мяты.

Наверное, в среду я уже привыкла бы к этой пугающей обстановке, если, войдя в зал, не увидела бы придвинутый к стене стол, взгроможденную на него мебель, а с другой стороны, на смастеренных за ночь мостках — баулы и ящики с домашней утварью. Зрелище вызвало во мне ужасное ощущение опустошенности. Что-то

случилось за ночь. Дом был не прибран, босые индейцы без рубашек, с закатанными до колен штанами переносили мебель в столовую. В выражении их лиц, даже в их усердии угадывалось отчаяние подавленной строптивости, унижительное смирение перед дождем. Я двигалась безвольно, не выбирая дороги. Ощущала себя заброшенной луговиной, заросшей водорослями и лишайниками, липкими, раскисшими грибами, засеянной отвратительной флорой мрака и сырости. Я была в зале, наблюдала безжизненное зрелище сваленной в кучу мебели, когда услышала голос мачехи из комнаты. Она просила меня побережься от воспаления легких. Только тогда я поняла, что вода доходит мне до щиколоток, дом затопило, а пол залит плотным, вязким слоем мертвой воды.

В полдень среды еще не рассвело. А к трем часам дня наступила ранняя, нездоровая ночь, с тем же медленным и монотонным, не знающим пощады стуком дождя во дворе. Это были преждевременные сумерки, спокойные и печальные, они сгущались в молчании индейцев, которые присели на стулья вдоль стены, покорные и бессильные перед лицом стихии. Стали приходить вести с улицы. Никто их в дом не приносил. Точ-

ные, определенные, они просто доходили, будто их приносила жидкая грязь, что текла по улицам и несла на себе домашнюю утварь и прочую ерунду; последствия далекой катастрофы, мусор и дохлых животных. То, что случилось еще в воскресенье, когда дождь был лишь предвестником спасительной перемены погоды, стало известно в доме через два дня. А в среду новости свалились на нас, будто их подталкивала внутренняя энергия непогоды. Тогда узнали, что нашу церковь затопило и она вот-вот обрушится. Кто-то, кому и незачем было это знать, сказал в этот вечер:

— Поезд с понедельника не может проехать мост. Похоже, река унесла рельсы.

И стало известно, что одна больная исчезла со своего ложа и ее тело сегодня нашли плавающим во дворе.

Испуганная, вся во власти страха и наводнения, я села в качалку, поджав ноги и уставившись во влажную темноту, заполненную смутными предчувствиями. Мачеха появилась в просвете двери, с лампой над высоко поднятой головой. Она казалась домашним призраком, которого я ничуть не боялась, потому что от меня самой зависела его сверхъестественность. Шла ко мне.

Шлепала по воде в коридоре и держала лампу над головой.

— Теперь надо молиться, — произнесла она.

А я видела ее лицо, высохшее и растрескавшееся, будто она только что вышла из своей могилы или была сделана из нечеловеческой материи. Стояла передо мной с четками в руке и говорила:

— Теперь надо молиться. Вода размыва погребения, и наши мертвецы плавают по кладбищу.

Я поспала немного в эту ночь, но вскоре проснулась в испуге от резкого пронизывающего запаха, похожего на запах разлагающихся тел. Сильно толкнула Мартина, который храпел рядом.

— Чувствуешь? — прошептала я.

— Что?

— Вонь. Наверное, покойники плывут по улицам.

Я была перепугана этой мыслью, но Мартин отвернулся к стене и сквозь сон хрипло произнес:

— Это твои штучки. Беременные всегда что-нибудь придумают.

К утру четверга исчезли запахи, потерялось ощущение времени. Само время, перепутанное

со вчерашнего дня, совсем исчезло. Уже не было четверга. То, что было вместо него, — что-то осязуемое и вязкое, что можно отвести руками. Там не было ни мужчин, ни женщин. Мачеха, отец, индейцы были грузными, невероятными телами, двигавшимися в трясине дождей. Отец велел мне:

— Не отходи отсюда, пока не скажу, что можно.

Его голос доносился откуда-то издали, казалось даже, что он доходил не через слух, а через осязание, которое еще работало.

Но отец потерялся во времени. Когда настала ночь, я позвала мачеху и попросила ее проводить меня в спальню. Я мирно, спокойно спала всю ночь. На следующий день обстановка была такой же: без цвета, без запаха, без температуры. Проснувшись, я перебралась в кресло и сидела неподвижно. Казалось, не все во мне еще проснулось. Вдруг я услышала гудок. Долгий, тоскливый гудок поезда, убегающего от непогоды. «Очевидно, прятался где-то», — подумала я. А голос за моей спиной как бы ответил на мою мысль: «Где?»

— Кто тут? — спросила я, оглянувшись. И увидела мачеху у стены, ее длинную, иссохшую руку.

— Это я.

— Слышишь?

Она ответила, что да, наверное, поблизости просветлело и починили пути. Подала мне поднос с едой. Она пахла чесночным соусом и сливочным маслом. Это была тарелка супа. Смутившись, я спросила мачеху, который час. И она усталым голосом, отдававшим смирением, произнесла:

— Должно быть, половина третьего. Вообще-то поезд не опаздывает.

— Половина третьего? Как я могла проспать столько?

— Не так уж много ты спала. Сейчас не больше трех.

И я, чувствуя, что тарелка дрожит в руках, пробормотала:

— Половина третьего пятницы...

А она, монументально спокойная, усмехнулась:

— Нет, четверга, дочка. Все еще четверг, половина третьего.

Не знаю, сколько времени я была погружена в это сонное состояние, когда сами ощущения потеряли значение. Знаю только, что после бес-



счетных часов услышала голос в соседней комнате:

— Теперь можешь переставить кровать сюда.

Это был усталый голос, но не больного, а выздоравливающего. Потом услышала плеск воды. Не шевелилась, пока не поняла, что лежу горизонтально. Тогда почувствовала огромную пустоту. Ощутила вибрирующую, неестественную тишину дома, невероятную неподвижность всего. И вдруг ощутила свое сердце холодным камнем. «Я умерла, — пришло в голову. — Боже, я умерла». Подпрыгнула в кровати. Крикнула:

— Ада, Ада!

Раздраженный голос Мартина ответил мне с другого края постели:

— Тебя не слышат, потому что все уже во дворе.

Только тогда я поняла, что дождь прекратился и вокруг нас воцарились тишина, спокойствие, таинственная и глубинная благодать. Некое совершенство, должно быть, похожее на смерть. Потом в коридоре раздались шаги. Услышала ясный, совершенно живой голос. Затем свежий ветерок встряхнул полотнище двери, скрипнула защелка, и нечто твердое и неожи-

данное, как зрелый плод, шлепнулось на дворе в воду. Что-то в воздухе выдавало присутствие невидимки, который улыбался в темноте. «Боже мой, — подумала я, сбитая с толку путаницей во времени, — теперь не удивлюсь, если меня позовут на давно прошедшую воскресную мессу».

## Содержание

Третье смирение. <i>Перевод А. Борисовой</i> . . . . .	5
Другая сторона смерти. <i>Перевод А. Борисовой</i> . . . . .	22
Ева внутри своей кошки. <i>Перевод А. Борисовой</i> . . . . .	38
Огорчение для троих сомнамбул. <i>Перевод А. Борисовой</i> . . . . .	58
Диалог с зеркалом. <i>Перевод А. Борисовой</i> . . . . .	65
Глаза голубой собаки. <i>Перевод С. Маркова</i> . . . . .	77
Женщина, которая приходила ровно в шесть. <i>Перевод Э. Брагинской</i> . . . . .	90
Негритенок Набо, заставивший ангелов ждать. <i>Перевод С. Маркова</i> . . . . .	110
Кто ворошит эти розы. <i>Перевод С. Маркова</i> . . . . .	126
Ночь, когда хозяйничали выпы. <i>Перевод А. Борисовой</i> . . . . .	133
Исабель смотрит на дождь в Макондо. <i>Перевод Ю. Грейдинга</i> . . . . .	142

## ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ГРУППА

ПРИБОРАЙТЕ КНИГИ ПО ИЗДАТЕЛЬСКИМ ЦЕНАМ  
В СЕТИ КНИЖНЫХ МАГАЗИНОВ **буква**

### В Москве:

- м. «Алтуфьево», ТРЦ «РИО», Дмитровское ш., вл. 163, 3 этаж, т. (495) 988-51-28
- м. «Бауманская», ул. Спартаковская, д. 16, стр. 1, т. (499) 267-72-15
- м. «ВДНХ», ТЦ «Золотой Вавилон — Ростокино», пр-т Мира, д. 211, т. (495) 665-13-64
- м. «Каховская», Чонгарский б-р, д. 18а, т. (499) 619-90-89
- м. «Коломенская», ул. Судостроительная, д. 1, стр. 1, т. (499) 616-20-48
- м. «Новые Черемушки», ТЦ «Черемушки», ул. Профсоюзная, д. 56, 4 этаж, пав. 4а-09, т. (495) 739-63-52
- м. «Парк культуры», Зубовский б-р, д. 17, т. (499) 246-99-76
- м. «Перово», ул. 2-я Владимирская, д. 52, к. 2, т. (499) 306-18-98
- м. «Преображенская площадь», ул. Большая Черкизовская, д. 2, к. 1, т. (499) 161-43-11
- м. «Сокол», ТК «Метромаркет», Ленинградский пр-т, д. 76, к. 1, 3 этаж, т. (495) 781-40-76
- м. «Тимирязевская», Дмитровское ш., д. 15/1, т. (499) 977-74-44
- м. «Университет», Мичуринский пр-т, д. 8, стр. 29, т. (499) 783-40-00
- м. «Шарицыно», ул. Луганская, д. 7, к. 1, т. (495) 322-28-22
- м. «Шукинская», ТЦ «Шука», ул. Шукинская, вл. 42, 3 этаж, т. (495) 229-97-40
- м. «Ясенево», ул. Паустовского, д. 5, к. 1, т. (495) 423-27-00
- М.О., г. Зеленоград, ТЦ «Зеленоград», Крюковская пл., д. 1, стр. 1, 3 этаж, т. (499) 940-02-90
- М.О., г. Люберцы, ТЦ «Светофор», ул. Побратимов, д. 7, 4 этаж, т. (498) 602-82-65

### В регионах:

- г. Владимир, ул. Дворянская, д.10, т. (4922) 42-06-59
- г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 46, ТРЦ «ГРИНВИЧ», 3 этаж
- г. Калининград, ул. Карла Маркса, д. 18, т. (4012) 66-24-64
- г. Краснодар, ул. Дзержинского, д. 100, ТЦ «Красная площадь», 3 этаж, т. (861) 210-41-60
- г. Красноярск, пр-т Мира, д. 91, ТЦ «Атлас», 1, 2 этаж, т. (391) 211-39-37
- г. Пенза, ул. Московская, д. 83, ТЦ «Пассаж», 2 этаж, т. (8412) 20-80-35
- г. Пермь, ул. Революции, д. 13, 3 этаж, ТЦ «Семья» т. (342) 238-69-72
- г. Ростов-на-Дону, г. Аксай, Новочеркасское ш., д. 33, ТЦ «Мега», 1 этаж, т. (863) 265-83-34
- г. Рязань, Первомайский пр-т, д. 70, к. 1, ТЦ «Виктория Плаза», 4 этаж, т. (4912) 95-72-11
- г. С.-Петербург, ул. 1-я Красноармейская, д. 15, ТК «Измайловский», 1 этаж, т. (812) 325-09-30
- г. Самара, ул. Дыбенко, д. 30, ТЦ «Космопорт», 1 этаж, т. 8-937-202-65-09
- г. Тольятти, ул. Ленинградская, д. 55, т. (8482) 28-37-67
- г. Тула, ул. Первомайская, д. 12, т. (4872) 31-09-22
- г. Уфа, пр-т Октября, д. 34, ТРК «Семья», 2 этаж, т. (347) 293-62-88
- г. Чебоксары, ул. Калинина, д. 105а, ТЦ «Мега Молл», 0 этаж, т.(8352) 28-12-59
- г. Челябинск, пр-т Ленина, д. 68, т. (351) 263-22-55
- г. Череповец, Советский пр-т, д. 88, т. (8202) 20-21-22
- г. Ярославль, ул. Первомайская, д. 29/18, т. (4852) 30-47-51

Широкий ассортимент электронных и аудиокниг  
ИГ АСТ Вы можете найти на сайте [www.elkniga.ru](http://www.elkniga.ru)

Заказывайте книги почтой в любом уголке России  
123022, Москва, а/я 71 «Книги – почтой» или на сайте: [shop.avanta.ru](http://shop.avanta.ru)

Курьерская доставка по Москве и ближайшему Подмосковию:  
Тел/факс: +7(495)259-60-44, 259-41-71

Приобретайте в Интернете на сайте: [www.ozon.ru](http://www.ozon.ru)

Издательская группа АСТ [www.ast.ru](http://www.ast.ru)

129085, Москва, Звездный бульвар, д. 21, 7-й этаж

Информация по оптовым закупкам: (495) 615-01-01, 232-17-06,  
факс 615-51-10, E-mail: [zakaz@ast.ru](mailto:zakaz@ast.ru)

ПРИБРЕТАЙТЕ КНИГИ ПО ИЗДАТЕЛЬСКИМ ЦЕНАМ  
В СЕТИ КНИЖНЫХ МАГАЗИНОВ **Буква**

**МОСКВА:**

- м. «Алексеевская», Звездный б-р, д. 21, стр.1, т. (495) 323-19-05
- м. «Алексеевская», пр-т Мира, д. 114, стр. 2 (Му-Му), т. (495) 687-57-56
- м. «Алтуфьево», ТРЦ «РИО», Дмитровское ш., вл. 163, 3 этаж, т. (495) 988-51-28
- м. «Бауманская», ул. Спартаковская, д. 16, стр. 1, т. (499) 267-72-15
- м. «Бибирево», ул. Пришвина, д. 22, ТЦ «Александр», 0 этаж, т. (499) 206-92-65
- м. «ВДНХ», ТЦ «Золотой Вавилон - Ростокино», пр-т Мира, д. 211, т. (495) 665-13-64
- м. «ВДНХ», г. Мытищи, ул. Коммунистическая, д. 1, ТРК «ХЛ-2», 3 этаж, т. (495) 641-22-89
- м. «Домодедовская», Ореховый б-р, вл. 14, стр. 3, ТЦ «Домодедовский», 3 этаж, т. (495) 983-03-54
- м. «Каховская», Чонгарский б-р, д. 18а, т. (499) 619-90-89
- м. «Коломенская», ул.Судостроительная, д. 1, стр. 1, т. (499) 616-20-48
- м. «Коньково», ул. Профсоюзная, д. 109, к. 2, т. (495) 429-72-55
- м. «Крылатское», Рублевское ш., д. 62, ТРК «Евро Парк», 2 этаж, т. (495) 258-36-14
- м. «Марксистская/Таганская», Большой Факельный пер., д. 3, стр. 2, т. (495) 911-21-07
- м. «Новые Черемушки», ТЦ «Черемушки», ул. Профсоюзная, д. 56, 4 этаж, пав. 4а-09, т. (495) 739-63-52
- м. «Парк культуры», Зубовский б-р, д. 17, т. (499) 246-99-76
- м. «Перово», ул. 2-я Владимирская, д. 52, к. 2, т. (499) 306-18-98
- м. «Петровско-Разумовская», ТРК «ХЛ», Дмитровское ш., д. 89, 2 этаж, т. (495) 783-97-08
- м. «Пражская», ул. Красного Маяка, д. 26, ТЦ «Пражский Пассаж», 2 этаж, т. (495) 721-82-34
- м. «Преображенская площадь», ул. Большая Черкизовская, д. 2, к. 1, т.(499) 161-43-11
- м. «Сокол», ТК «Метромаркет», Ленинградский пр-т, д.76, к.1, 3 этаж, т. (495) 781-40-76
- м. «Теплый Стан», Новоясеневский пр-т, вл.1, ТРЦ «Принц Плаза», 4 этаж, т. (495) 987-14-73
- м. «Тимирязевская», Дмитровское ш., 15/1, т. (499) 977-74-44
- м. «Третьяковская», ул. Большая Ордынка, вл.23, пав. 17, т. (495) 959-40-00
- м. «Тульская», ул. Большая Тульская, д.13, ТЦ «Ереван Плаза», 3 этаж, т. (495) 542-55-38
- м. «Университет», Мичуринский пр-т, д. 8, стр. 29, т. (499) 783-40-00
- м. «Шарицыно», ул. Луганская, д. 7, к.1, т. (495) 322-28-22
- м. «Шукинская», ТЦ «Шука», ул. Шукинская, вл. 42, 3 этаж, т. (495) 229-97-40
- м. «Юго-Западная», Солнцевский пр-т, д. 21, ТЦ «Столица», 3 этаж, т.(495) 787-04-25
- м. «Ясенево», ул. Паустовского, д.5, к.1, т.(495) 423-27-00
- М.О., г. Железнодорожный, ул. Советская, д.9, ТЦ «Эдельвейс», 1 этаж, т. (498) 664-46-35
- М.О., г. Зеленоград, ТЦ «Зеленоград», Крюковская пл., д. 1, стр. 1, 3 этаж, т. (499) 940-02-90
- М.О., г. Клин, ул. Карла Маркса, д. 4, ТЦ «Дарья», 2 этаж, т. (496) (24) 6-55-57
- М.О., г. Коломна, Советская пл., д. 3, ТД «Дом торговли», 1 этаж, т. (496) (61) 50-3-22
- М.О., г. Люберцы, Октябрьский пр-т, д. 151/9, т. (495) 554-61-10
- М.О., г. Сергиев Посад, ул. Вознесенская, д. 32а, ТРЦ «Счастливая семья», 2 этаж
- М.О., г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТРЦ «Поворот»

## Регионы:

- г. Архангельск, ул. Садовая, д. 18, т. (8182) 64-00-95
- г. Астрахань, ул. Чернышевского, д. 5а, т. (8512) 44-04-08
- г. Белгород, Народный б-р, д. 82, ТЦ «Пассаж», 1 этаж, т.(4722) 32-53-26
- г. Владимир, ул. Дворянская, д. 10, т. (4922) 42-06-59
- г. Волгоград, ул. Мира, д. 11, т. (8442) 33-13-19
- г. Воронеж, пр-т Революции, д. 58, ТЦ «Утюжок», т. (4732) 51-28-94
- г. Иваново, ул. 8 Марта, д. 32, ТРЦ «Серебряный город», 3 этаж, т. (4932) 93-11-11 доб. 20-03
- г. Ижевск, ул. Автозаводская, д. 3а, ТРЦ «Столица», 2 этаж, т. (3412) 90-38-31
- г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 46, ТРЦ «ГРИНВИЧ», 3 этаж, т. (343) 253-64-10
- г. Калининград, ул. Карла Маркса, д.18, т. (4012) 66-24-64
- г. Краснодар, ул. Головатого, д. 313, ТЦ «Галерея», 2 этаж, т. (861) 278-80-62
- г. Красноярск, пр-т Мира, д. 91, ТЦ «Атлас», 1, 2 этаж, т. (391) 211-39-37
- г. Курск, ул. Ленина, д. 31, ТРЦ «Пушкинский», 4 этаж, т. (4712) 73-45-30
- г. Курск, ул. Ленина, д.11, т. (4712) 70-18-42
- г. Липецк, угол Коммунальная пл., д. 3 и ул. Первомайская, д. 57, т. (4742) 22-27-16
- г. Орел, ул. Ленина, д. 37, т. (4862) 76-47-20
- г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 31, т. (3532) 31-48-06
- г. Пенза, ул. Московская, д. 83, ТЦ «Пассаж», 2 этаж, т. (8412) 20-80-35
- г. Пермь, ул. Революции, д. 13, 3 этаж, ТЦ «Семья», т. (342) 238-69-72
- г. Ростов-на-Дону, г. Аксай, Новочеркасское ш., д. 33, ТЦ «Мега», 1 этаж, т. (863) 265-83-34
- г. Рязань, Первомайский пр-т, д. 70, к. 1, ТЦ «Виктория Плаза», 4 этаж, т. (4912) 95-72-11
- г. С.-Петербург, ул. 1-я Красноармейская, д. 15, ТК «Измайловский», 1 этаж, т. (812) 325-09-30
- г. Ставрополь, пр-т Карла Маркса, д. 98, т. (8652) 26-16-87
- г. Тверь, ул. Советская, д. 7, т. (4822) 34-37-48
- г. Тольятти, ул. Ленинградская, д. 55, т. (8482) 28-37-68
- г. Тула, ул. Первомайская, д. 12, т. (4872) 31-09-22
- г. Тула, пр-т Ленина, д. 18, т. (4872) 36-29-22
- г. Тюмень, ул. М. Горького, д. 44, ТРЦ «Гудвин», 2 этаж, т. (3452) 79-05-13
- г. Уфа, пр-т Октября, д. 34, ТРК «Семья», 2 этаж, т. (347) 293-62-88
- г. Чебоксары, ул. Калинина, д.105а, ТЦ «Мега Молл», 0 этаж, т. (8352) 28-12-59
- г. Челябинск, пр-т Ленина, д. 68, т. (351) 263-22-55
- г. Череповец, Советский пр-т, д. 88, т. (8202) 20-21-22
- г. Ярославль, ул. Первомайская, д. 29/18, т. (4852) 30-47-51
- г. Ярославль, ул. Свободы, д. 12, т. (4852) 72-86-61

Широкий ассортимент электронных и аудиокниг  
ИГ АСТ Вы можете найти на сайте [www.elkniga.ru](http://www.elkniga.ru)

Заказывайте книги почтой в любом уголке России  
123022, Москва, а/я 71 «Книги – почтой»  
или на сайте: [shop.avanta.ru](http://shop.avanta.ru)

Курьерская доставка по Москве и ближайшему Подмосквовью:  
Тел/факс: +7(495)259-60-44, 259-41-71

Приобретайте в Интернете на сайте: [www.ozon.ru](http://www.ozon.ru)

Издательская группа АСТ [www.ast.ru](http://www.ast.ru)  
129085, Москва, Звездный бульвар, д. 21, 7-й этаж  
Информация по оптовым закупкам: (495) 615-01-01, 232-17-06  
факс 615-51-10  
E-mail: [zakaz@ast.ru](mailto:zakaz@ast.ru)

**Исключительные права на публикацию книги на русском языке принадлежат издательству AST Publishers. Любое использование материала данной книги, полностью или частично, без разрешения правообладателя запрещается.**

Литературно-художественное издание

**Гарсиа Маркес Габриэль  
Глаза голубой собаки**

*Сборник*

Компьютерная верстка: В.Е. Кудымов  
Технический редактор Т.В. Полонская

Общероссийский классификатор продукции  
ОК-005-93, том 2; 953000 — книги, брошюры

ООО «Издательство АСТ»

141100, Россия, Московская обл., г. Щелково, ул. Заречная, д. 96  
Наши электронные адреса: WWW.AST.RU E-mail: astpub@aha.ru

Широкий ассортимент электронных и аудиокниг  
ИГ АСТ Вы можете найти на сайте [www.elkniga.ru](http://www.elkniga.ru)

ООО «Издательство «Астрель»

129085, г. Москва, пр-д Ольминского, д. 3а

Типография ООО «Полиграфиздат»

144003, г. Электросталь, Московская область, ул. Тевосяна, д. 25



# Габриэль Гарсиа Маркес

Глаза голубой собаки

Зачем красивая женщина превратилась в кошку?

Почему негритенок Набо заставил ангелов ждать?

Что убивает человека – смертельная болезнь  
или готовность принять смерть?

Что происходит в старинном городке Макондо  
с приходом сезона дождей?

И что все-таки случилось с тремя пьяницами  
в дешевом баре, где хозяйничали выпы?

Рассказы Габриэля Гарсиа Маркеса, в которых он  
играет со стилями и пробует себя в разных литературных  
направлениях.

Он ощупью ищет то, что станет впоследствии  
его творческим кредо.

А читатель прослеживает его путь – от просто  
хорошего писателя – до истинного мастера слова!

[www.ast.ru](http://www.ast.ru)  
[www.elkniga.ru](http://www.elkniga.ru)

ISBN 978-5-17-076070-3



9 785170 760701